SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Василий Васильевич Огарков
  -
  - Предисловие
  - Глава I. «Темное царство» и поэт
  - Глава II. Степь. Дружба и любовь
  - Глава III. Первые литературные успехи Кольцова
  - Глава IV. Среди литературных светил
  - Глава V. Последние годы жизни Кольцова
  - Глава VI. Кольцов как поэт
  - Источники
  - Приложение. Список стихотворений Кольцова, положенных на музыку русскими композиторами
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12

Василий Васильевич Огарков Алексей Кольцов. Его жизнь и литературная деятельность

Биографический очерк В. В. Огаркова

С портретом А.В. Кольцова, гравированным в Лейпциге Геданом

Предисловие

Прошло уже полвека со дня смерти Кольцова, между тем до сих пор еще многие факты его биографии остаются неясными, а многие рассказы о его жизни и отношениях с окружающими, считавшиеся прежде достоверными, оказываются не совсем согласными с действительностью.

Одним из самых ценных документов для ознакомления с жизнью поэта является известная его биография, написанная Белинским. Знаменитый критик не пожалел ярких красок в изображении трагического положения своего друга среди окружавшей его «грубой и невежественной» обстановки. Но эта блестящая статья, заключая много тонких психологических штрихов и справедливых мыслей и представляя верную оценку поэтического таланта поэта-прасола,[1] порою слишком идеализирует его как человека и в гиперболически мрачном свете выставляет нравственные качества людей, его окружавших. Согласно известному изречению: «Человеку не чуждо ничто человеческое», трудно ожидать, чтобы и у Кольцова не было недостатков, привитых окружавшею его средою, хотя это нисколько не умаляет его огромных достоинств. Между тем в горячей статье Белинского дело представлено так, что Кольцов – яркий, чудный цветок, а кругом него сплошь отвратительное, грязное и топкое болото. Понятно, что такая картина в целом кажется не совсем правдоподобною и ее резкие штрихи должны быть, при изучении дела, значительно смягчены.

Очень мало имеется достоверных данных относительно последних полутора или двух лет жизни поэта, а между тем это время преждевременного и горького угасания сильного таланта является очень интересным периодом в биографии Кольцова. Да и вообще желательно было бы большее количество данных обо всей жизни поэта. Недостаток биографических материалов о нем объясняется как самим характером Кольцова, так и окружавшею его обстановкой. Скромный прасол не был ни видным общественным деятелем, ни титулованным лицом, ни слишком ярким, импозантным человеком, да и сама роль его в литературе тогда не казалась настолько значительной, чтобы современники и друзья считали нужным отмечать и запоминать факты жизни поэта. Необразованная семья, где родился и провел жизнь Кольцов, понятно, не могла да и не всегда имела время наблюдать поэта в детские и отроческие годы и отмечать влияние тех или других факторов на формирование его характера и таланта. Сам Кольцов, как известно, не писал ни дневника, ни

воспоминаний и не вел записок. При его сдержанном и скрытном характере он мало и рассказывал о себе. Правда, в последние годы жизни поэт вел большую переписку, но многие его письма еще не обнародованы и даже неудобны для этого, по рассказам знакомых с ними лиц, вследствие своего слишком интимного содержания. А письма, писанные к самому Кольцову, как и все его бумаги, в которых могло сохраниться много ценных биографических указаний, проданы были после смерти поэта его отцом как никуда не годный материал на рынок, «на завертку». И только совершенно случайно самая малая часть из проданного попала впоследствии в руки людей понимающих. Таким образом, для биографии поэта-прасола, кроме написанных им стихотворений, до сих пор еще главным материалом являются напечатанные рассказы и воспоминания его друзей и современников, устные рассказы старожилов Воронежа и родных Кольцова, а также небольшое количество опубликованных в печати писем его. И конечно, в ряду статей, посвященных поэту, все-таки одною из самых драгоценных является вышеозначенная биография, написанная Белинским. Кольцов целые месяцы жил со знаменитым критиком и вел с ним обширную переписку; он был очень откровенен с Белинским, поверял ему многие самые интимные факты своей жизни. Статья напечатана критиком при издании стихотворений Кольцова в 1846 году, то есть четыре года спустя после смерти поэта, когда Белинский, конечно, не успел еще забыть сообщенных ему фактов. Повторяем, единственный недостаток помянутой блестящей статьи тот, что в пылу горячности, вызванной печалью о погибшем поэте, в ней брошены сильные и не совсем справедливые обвинения в адрес родных и знакомых прасола.

Из позднейших же исследований о поэте самого большого внимания заслуживает книга покойного М. Ф. Де-Пуле «А. В. Кольцов в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке» (СПб., 1878). Автор, долго живший в Воронеже, собрал на месте насколько возможно полные данные о поэте. В книге, кроме того, сгруппировано почти все, появлявшееся в литературе о жизни Кольцова, а также приведено много выдержек из нигде не обнародованных писем поэта к А. А. Краевскому.

Мы при составлении очерка в значительной степени пользовались вышеупомянутою книгою Де-Пуле, не разделяя, однако, всех выводов автора. Кроме прочитанной нами литературы, относящейся до предмета предлагаемого очерка, мы во время жизни в Воронеже и при поездках в этот город старались разузнать и проверить многие данные, сообщавшиеся о поэте, хотя это и представляло трудности за слишком большою

давностью событий.

Очень желательно, чтоб хотя бы к пятидесятилетию (19 октября 1892 года) со дня смерти Кольцова были опубликованы до сих пор еще не напечатанные письма его, а также воспоминания знавших его или слышавших о нем из достоверных источников. Это, может быть, помогло бы установить более подробно и точно факты последних двух лет его жизни и осветило бы уже известное новым светом.

Глава I. «Темное царство» и поэт

Трагическая роль избранников судьбы. – Кольцов – один из таких избранников. – Рождение Кольцова. – Роль Воронежа при царе-преобразователе. – Воронежское купечество. – Буржуазная «аристократия». – Ближайшие предки поэта. – Прасолы и шибаи. – Отец и мять Кольцова. – Крепостные у мещан Кольцовых. – Няня поэта. – Детство его. – Обучение грамоте. – Страстная жажда чтения. – «Бова» и «Еруслан». – Роль сказок в возбуждении интереса к чтению. – Дружба с Варгиным. – Романы Лафонтена и Дюкре-дю-Мениля. – «Тысяча и одна ночь». – Попытки писательства. – Начало практической торговой деятельности. – Первые очарования природой. – Смерть товарища. – Стихотворения Дмитриева. – «Три видения». – Писание стихов. – Неблагоприятные условия для поэтической деятельности

Природа выявляет трагическое, забрасывая в душу человека, обреченного по своему общественному положению на беспросветную и тяжкую долю, искры божественного огня. Этим святым, но и опасным даром она как будто желает в известной степени вознаградить общественные группы, обделенные светом знания и изнывающие в тяжелой борьбе за существование, и, с другой стороны, – показать удивленному миру, какие богатства душевных и умственных сил таятся в тех слоях общества, для которых судьба была суровою мачехой. И пример божественных избранников, не только сохранивших искры святого огня, но и раздувших их в светящий миру факел, несмотря на условия жизни, постоянно мешавшие этому, – пример этот действительно показывает нам, какими могучими задатками обладают лишенные света знания и материального довольства общественные слои, какой непочатый еще родник поэзии, ума и нравственной энергии заключают они и какою могучею, живительною струей пролились бы эти силы, если бы история была вообще милостивее к людям.

Здесь не место приводить многие случаи, доказывающие богатство дарований «сынов народа», и мы ограничимся только двумя наиболее известными в русской истории примерами: Ломоносов, в одной своей особе, по выражению Пушкина, «вмещавший всю российскую академию и университет», и знаменитый патриарх Никон были крестьянские дети.

Алексей Васильевич Кольцов принадлежал к этим светлым и

вместе с тем трагическим избранникам судьбы. Как ни проста его жизнь, как, по-видимому, ни будничны ее подробности, но она представляла порою жестокую драму. По выражению Гейне, с каждым человеком «родится и умирает целая вселенная». Это изречение еще более применимо к натурам избранным, поэтическим, обладающим чуткою отзывчивостью к радостям и страданиям. Немало пришлось страдать и Кольцову, немало он сделал тяжелых уступок обстоятельствам, немало и к нему пристало житейской грязи; но борьба не сломила вконец его души, он вынес из тумана жизни свой священный факел, и огонь его горит ясною, нетленною красотою в прекрасных и задушевных песнях.

Кольцов родился в 1808 году, 2 октября, в Воронеже. Отец его, Василий Петрович, был мещанин-прасол. Миром, среди которого увидел свет, провел детство и молодые годы (до счастливых встреч с друзьями и образованными людьми) Кольцов, было то «темное царство» с его застывшим культом верований, привычек и подобострастным отношением к капиталу, которое так губит всякое самостоятельное мышление и чувство. «Яйца курицу не учат», «с сильным не борись», «деды не глупее нас были, а грамоты и не знали» – вот некоторые из мудрых правил кодекса, обязательного в этой среде. Грубость, невежество и соединенное с ним суеверие – обыкновенные спутники жизни без света, без знания, без права критики вековых устоев «темного царства». Нужны очень счастливые способности в соединении с особой душевной стойкостью, чтобы выбраться из засасывающего болота подобной жизни и стать на твердую почву.

Но прежде чем перейти к детству Кольцова, мы должны сделать маленькую историческую и географическую экскурсию, чтоб лучше осветить положение поэта-прасола и его ближайших предков среди местного общества.

Воронеж, расположенный на высоком берегу реки того же названия, притоке Дона, – очень красивый город. Уже в далеком прошлом, когда воды реки были глубже, и когда Воронеж был одним из крупных пунктов редко населенной степной окраины, здесь кипела жизнь: царь-работник наметил этот город для своей кораблестроительной деятельности. Здесь строились и снаряжались суда для походов Петра I на Азов, основывались фабрики и заводы в то время, когда еще провинция спала глубоким сном. Это обстоятельство, а также заезды царя и долгое его пребывание в городе способствовали тому, что в Воронеже оказалось много прозелитов вводимой Петром «крестом и мечом» новой цивилизации. Образовалось немало купеческих фамилий, «аристократов» торгового сословия, давно уже усвоивших себе

внешние атрибуты новых веяний: бритье бороды и немецкое платье. Но, разумеется, толчок, данный когда-то росту города деятельностью Петра, не мог выразиться только одним внешним образом: он необходимо расширил и умственные горизонты обывателей. И действительно, воронежское купечество отличалось, сравнительно с торговым сословием многих других губернских центров, своею интеллигентностью, так что наблюдатель, попавший в Воронеж хотя бы в первой четверти настоящего (XIX. – *Ред.)* столетия, был бы удивлен, встретив в небольшом еще тогда городе купцов, далеко не похожих на те лики «суздальского письма», представление о которых невольно возникало при знакомстве с тогдашнею литературой и с представителями купеческого сословия в других местах. Многие воронежские купеческие «аристократические» роды измеряли свое прошлое промежутками времени в столетие и более, и из них действительно выходили замечательные люди как по образованию, так и по той чуткости ко всему доброму и прекрасному, которую они проявляли, например, по отношению к Кольцову или к воронежскому же уроженцу И. С. Никитину, страдальческая и искренняя муза которого, так глубоко трогающая душу, не получила еще до сих пор надлежащей оценки.

Кольцовы (отец, дед и прадед поэта) не принадлежали к этой купеческой аристократии, жившей главным образом в возвышенной, «богатой» части Воронежа. Они были мелкими торгашами-прасолами и шибаями[2] и жили испокон века на одной из нижних, грязных и «плебейских» улиц города (Гусиновке).

Кто желает получше познакомиться со значением слов «прасол» и «шибай», тот пусть прочтет скорбную поэму Никитина «Кулак». Поразительно реально, со скорбью о погибающих людях-братьях, со слезами, брызжущими из-под каждой строчки, описана в этой поэме гнусная, позорная и тяжелая жизнь кулака-шибая… В борьбе за существование, за жизнь впроголодь «шибай зубами, как зверь, готов рвать кусок хлеба у таких же обездоленных, как и он, бедняков – обманывает, обвешивает и клянется… Мы сами близко знаем эту жизнь и можем засвидетельствовать, что тяжелее и печальнее существования мелкого шибая или прасола (занятий, соединенных часто в одном лице) трудно себе что-нибудь представить… Шибаи– это парии торгового класса… „Кошкодер“, „дохлятник“ – вот названия, которыми чествуют их и мужики, и торговцы, имеющие счастье принадлежать к более высокому коммерческому рангу…

Едва ли ближайшие предки Кольцова много отличались от

Лукича (героя поэмы «Кулак») характером своей деятельности.

Несомненно, и им приходилось ездить по деревням или на городских базарах скупать сало, шерсть, кошек, собак и прочее, – обвешивать, обмеривать и клясться из-за грошей. Впоследствии только это мелкое шибайно-прасольское дело перешло в более крупное: в покупку и выкорм гуртов скота. Эти занятия, продолжавшиеся из поколения в поколение, выработали известный тип, передававшийся по наследству, – тип упорного в стремлении к наживе, бойкого и хитрого торгаша, готового обмануть родного отца и поступающего по известным мошенническим заповедям: «не зевай», «на то щука в море, чтоб карась не дремал», «не обманешь – не продашь» и так далее. Насколько прочны черты этого типа при известной обстановке, показывает пример самого поэта: одаренный счастливыми способностями, с искрой божией в душе, он, однако, до конца жизни не мог избавиться от привычек, переданных ему по наследству и закрепленных воспитанием. И эта борьба со следами прошлого, этот разлад практики жизни со светлыми идеалами поэзии, жившими в сердце поэта, приносили ему те страдания, которые и превращали часто его скромную жизнь мещанина в грустную трагедию.

Но, во всяком случае, Василий Петрович ко времени рождения сына, незадолго перед тем выделившись из семьи своего отца, был уже человеком достаточным, о чем свидетельствует покупка им дома в лучшей части города, на Дворянской улице, где и увидел божий свет будущий автор «песен». Не раз, вероятно, приходилось отцу поэта, если встречалась надобность, подавать и гильдию, то есть бывать купцом; но это ничего не меняло: он оставался мещанином как по образу жизни и привычкам, так и по платью. В данном случае «мещанство» Кольцовых означало не недостаток средств, а низменность происхождения и положения по отношению к купеческой «аристократии» города.

Отец поэта едва знал грамоту: умел только читать и писать. Но он был человек с умом, с характером самостоятельным и не мягким. Вообще большой ум составлял как бы родовую принадлежность Кольцовых. Природные задатки вместе с суровым характером, не терпевшим противоречий, развились в Василии Петровиче от ранней самостоятельной жизни – так как он почти юношей выделился из семьи своих родителей, – а также и от постоянных удач в торговле. Мать поэта (урожденная Чеботарева) была неграмотна, но красива, – с добрым, мягким сердцем и недюжинным умом. Поэт до конца жизни сохранил теплое чувство к ней, и, может быть, те мягкость и гуманность, с

которыми в своих песнях относился он к забитому меньшому брату, к его нуждам и радостям, составляют наследие, полученное от матери, так что и в этом случае при более тщательном расследовании, вероятно, выяснилась бы благотворность материнского влияния на поэта, как это вообще нередко было со многими талантливыми людьми. Но мягкими чертами только в известной степени сглаживалась та общая суровая сдержанность поэта, которая перешла к нему целиком от отца.

Кольцов являлся старшим, а впоследствии, когда его младший брат, Владимир, умер, единственным сыном Василия Петровича, у которого, кроме того, было несколько дочерей. Это обстоятельство заранее предрешало будущую судьбу поэта как прямого помощника отца, продолжателя его торговых дел и наследника. В этом же факте кроется и причина той нерешительности, которую впоследствии обнаружил поэт в вопросе о том, быть ли ему в Воронеже или уехать в Петербург, куда его звали приятели. Как единственный сын он считал, с одной стороны, своею обязанностью быть поддержкой семье, а с другой, – работал и для себя, будучи единственным наследником отцовского состояния. Как мы сказали выше, ко времени рождения Кольцова отец его был уже человеком достаточным, известным в Воронеже и пользовавшимся большим кредитом. В пору детства поэта Василий Петрович успел породниться с купеческой аристократией; этот факт уже прямо указывает на то, что период мелкого прасольства для него окончился; он выдал свою старшую дочь за Башкирцева, одного из тех родовитых и богатых купцов, ведшего обширную торговлю хлебом, о которых мы говорили. Дом Кольцовых стоял на лучшей городской улице, у них было даже немало своей крепостной прислуги. Читатель при этом известии удивится: каким образом мещанин, сам представитель низшего, податного сословия, мог владеть крепостными? Но это была пора, когда крепостными торговали как товаром: их продавали оптом, в розницу и отдавали «напрокат». Духовные, купцы, чиновники и мещане – все могли владеть крепостными, приобретая их на имя знакомых дворян или откупая у последних на известные сроки. Во всяком случае, из сказанного видно, что детство Кольцова, равно как впоследствии и вся жизнь, прошло в достатке, а не в лишениях и питании впроголодь, как это утверждают страстные панегиристы поэта, мало, однако, знакомые с фактами.

У маленького Алеши была крепостная няня, ходившая, впрочем, и за другими детьми. Тому факту, что у Кольцова, как и у других наших прославившихся поэтов, была няня «из народа», в

данном случае не следует придавать особенного, исключительного значения, какое он мог иметь в судьбе баричей-поэтов, знакомившихся с народною жизнью только урывками и оторванных от нее всею обстановкою и привычками. Конечно, рассказы няни, ее сказки и песни могли проникнуть в чуткую душу ребенка-Кольцова и могли найти там отклик. Может быть, в народные обороты, в простой, но чудесный язык его песен вошло что-нибудь из слышанного от няни в детстве, когда так глубоко западают в душу все впечатления; но все-таки для знакомства с народом у Кольцова оказались впоследствии более могущественные средства: он сам с головою окунулся в океан народной жизни; он проводил целые долгие месяцы в деревнях, слышал народную песню в широких привольных степях, слышал и заунывное причитанье пряхи под треск догорающей лучины, слушал не раз вой вьюги, застигнутый ею в дороге, и завывания голодных волков. Нужно сознаться, что не только у лиц, выступавших на литературное поприще до Кольцова, не было такого опыта и знания народной жизни, такой непосредственной близости к ней, но даже и у позднейших писателей, претендовавших на знание этой жизни, оно встречалось далеко не часто. И в этом заключается, конечно, одна из причин сильного воздействия поэзии Кольцова на читателей.

Жизнь ребенка-Кольцова ничем не отличалась от жизни детей мещанского круга; на воспитание его обращалось мало внимания, скорее никакого, присмотр был не особенно тщательный: ребенок пользовался свободою, бегал по улицам и, как это обыкновенно водится, простуживался, ушибался и проч. Товарищами детских игр мальчика были младшие сестры его и двоюродный брат. Замечательно, что Кольцов был мальчик хотя и способный, но не бойкий и не живой, а флегматичный, ушедший в себя. Таким он и остался на всю жизнь, хотя под этою спокойною и сдержанною внешностью нередко кипели страсти. Ничто в раннем детстве не указывало на то, что маленький Кольцов будет впоследствии таким прославленным поэтом, – да это открытие, если бы и было сделано, не доставило бы особенного удовольствия домашним.

Когда мальчику исполнилось девять лет, к нему для обучения грамоте пригласили семинариста. Кольцов скоро и недурно приготовился и поступил, минуя приходское, в уездное училище, но был оттуда взят отцом из второго класса, в котором проучился, перейдя из первого, только четыре месяца. На этом ученье Кольцова и окончилось: его знания были совершенно достаточны, по мнению отца, для той роли, к которой сын предназначался. Но, увы, эти знания были ничтожны в глазах любознательного поэта, что обнаружилось перед ним с полною

ясностью только тогда, когда уже минувшее трудно было исправить… Впоследствии, несмотря на огромную и страстную жажду знания, жизнь, взявшая в тиски поэта, не дала уже возможности поправить прежних ошибок… Так и остался бедный Кольцов с теми небольшими сведениями, которые приобрел в плохо организованной школе того времени. И что печальнее всего, даже в той области, где так отличился поэт-прасол, в сфере слова, – и здесь недостаточное образование давало себя чувствовать: орфография Кольцова была ужасна, и его произведения совершенно были бы невозможны в печати без самых решительных поправок их в грамматическом отношении.

Вероятно, еще до школы в мальчике проснулись неясно те стремления, которые потом выразились в страстной жажде чтения. Как, под влиянием каких непосредственных причин в человеке вдруг просыпается могучее влечение к миру мыслей и грез, в область «прекрасного», – трудно бывает решить в каждом отдельном случае. Но чтоб это влечение под влиянием того или другого импульса проявилось, человеку необходимо родиться с искрой божией. Немало было в Воронеже детей, чье детство было обставлено во всех отношениях лучше детства Алеши Кольцова, но ни один из них не сделал того, что впоследствии сделал поэт. Едва научившись читать, мальчик страстно отдается книгам: его живое воображение увлекается фантастическими образами сказок, и над произведениями вроде «Бовы» и «Еруслана» он просиживает целые вечера, перечитывая их по нескольку раз; как ни плохи эти аляповатые сказки, но они открывают живому детскому уму такую необъятную область явлений, такую чудную страну вымыслов, что невольно приохочивают к чтению. И в этом, может быть, заключается немалая доля пользы, приносимой на первых порах подобными книжками, окупающая в значительной степени то «обманное» знакомство с фактами жизни, которое они дают. Кольцов настолько пристрастился к книгам, что тратил на них деньги, получаемые от отца на игрушки и лакомства.

В школе любознательность Кольцова получила новый толчок: он познакомился с симпатичным мальчиком, сыном купца Варгина, у которого была библиотека. Такие натуры, как Кольцов, на заре своей жизни открывают душу для самой беззаветной приязни и дружбы, и только впоследствии суровая действительность, разбив иллюзии и мечты детства, заставляет их быть осторожными и осмотрительными с людьми… Но пока мальчик Кольцов страстно отдавался чувству дружбы и вместе с приятелем широко пользовался книгами из его библиотеки. Он взахлеб теперь читал романы (Лафонтена, Дюкре-дю-Мениля и др.), а от попавшихся ему сказок «Тысячи и одной ночи» не мог

оторваться. Последняя книга совершенно очаровала его фантастичностью и пленительностью своих образов: неуклюжие фигуры «Бовы» и «Еруслана» были уже забыты для новых любимцев. Будущая страсть к писательству сказывалась уже и теперь: Кольцов сам старался написать что-нибудь похожее на прочитанное – вещь, случающаяся со многими впечатлительными детьми… Но отец не за тем взял сына из школы, чтоб он «бил баклуши» над книгами: мальчик был нужен ему как помощник в торговых занятиях. И вот уже с ранней молодости вплетается в мир грез и дум Кольцова практическая действительность, та «проза жизни», к которой по преимуществу может быть отнесена деятельность его отца. Мальчик поступает «в науку»: его посылают с деловыми записками к купцам, с небольшими суммами денег за незначительными покупками, и, наконец, отец берет сына в степи, к гуртам скота.

Весьма возможно, что уже в эти ранние поездки, в эту «жизнерадостную» пору юности, когда душа жадно вбирает в себя впечатления, степь очаровала мальчика: ему должны были нравиться ее безбрежные ширь и простор, звонкая трель жаворонка в синем небе, стада, потонувшие в бесконечном зеленом море, и заунывная мелодия чумацкой песни… Может быть, и тогда уже в неопределенных очертаниях запали в отзывчивую душу Кольцова те краски и звуки, которыми так действует природа на людей.

Так проходило отрочество поэта: приезжая из степи в город, он набрасывался на книги, переходя таким образом от одного наслаждения к другому. Но и тут уже к мальчику подкралась беда: друг его Варгин умер, завещав приятелю до 70 книг. Тесное чувство связывало друзей, и легко понять печаль Кольцова о приятеле, которому он поверял свои думы, с которым вместе провел за чтением несколько лет… Памятью этой первой дружеской привязанности остается стихотворение «Ровеснику». Но, конечно, печаль в такие ранние годы не может быть долговечною: жизнь берет свое… И Кольцов понемногу забывает о своем приятеле, гарцуя по степи и поглощая с жадностью книги в городе. Наконец, будучи уже 16–17 лет, он покупает на толкучке стихотворения Дмитриева. Для юноши, никогда еще не читавшего стихов, но знавшего много песен и певшего их, такая покупка была целым откровением: она как бы отвечала на запросы души, жаждавшей «сладких звуков и молитв».

Кольцов бросился со своим сокровищем в сад и стал не читать Дмитриева, а… петь! Подметив сходство стихов с песнями, он полагал, что стихи, как и знакомые ему песни, нужно петь; и от этой привычки не мог освободиться даже после, читая всегда

сильно нараспев… Как ни смешна вышеприведенная сцена, но в образе увлеченного юноши, распевающего стихи, есть что-то наивно-трогательное. Кольцову очень понравились гармония стиха и созвучия рифм. Эта случайная покупка на толкучке книги Дмитриева решила участь Кольцова: в нем пробудилось такое страстное желание писать стихи, что оно превозмогло все препятствия… Пьесы Дмитриева юноша заучивал наизусть, в особенности ему понравился «Ермак». Вскоре представился Кольцову и материал, годный для того, чтобы излиться самому в рифмованных звуках; но последнее, при незнании того, что такое стих и каково его отличие от прозы, было связано с адски головоломной, каторжной работой, и только врожденным поэтическим талантом, инстинктивным стремлением к подобной деятельности можно объяснить то упорство, с которым поэт стряпал, обливаясь потом, свои первые вирши.

Приятель Кольцова видел сон, снившийся ему три ночи сряду, который и рассказал прасолу. Сначала приятелю приснилась молодая девушка редкой красоты, потребовавшая, чтобы он женился на ней; во второй раз – она явилась взрослою женщиной и в третий – старухою, грозившей за ослушание… Тема довольно романтическая. Целую ночь просидел Кольцов в своей комнатке, выходившей окнами в небольшой, но тенистый сад при доме, над первой своей стихотворной пьесой «Три видения», изображавшей случай, приключившийся с приятелем. Но как же выполнил эту работу Кольцов, не зная правил стихосложения? Он взял одну из пьес Дмитриева и стал подгонять к ней свою работу. Трудно дались ему первые строчки, но потом пошло легче, и таким образом получилось чудовищно нелепое стихотворение, настолько безобразное, что впоследствии Кольцов даже Белинскому, с которым вообще был очень откровенен, стыдился показать его, говоря, что оно уничтожено…

Но, несомненно, в первое время по сооружении пьесы Кольцов испытывал авторскую гордость, по размерам, может быть, не уступавшую той, с какою величайшие гении созерцают свои совершеннейшие произведения, у Кольцова были «свои» стихи, он сам может «сочинять», – а это сознание стоило чего-нибудь! И за первым опытом естественно последовали дальнейшие – плод бессонных ночей, работы при робком мерцании свечи или даже только при луне, из боязни отца, сначала не совсем благосклонно относившегося к «баловству» сына. И сколько юношеских восторгов видела, может быть, комната мальчика, и каким была она частым, но немым свидетелем страстных порываний его в запретную, но дивную область поэтических грез и видений!

Так Кольцову пошел 18-й год. Между тем отцовское дело росло, и помощь сына была все нужнее и нужнее… Будущий поэт вступил в торговую сферу как полноправный ее гражданин. Но, работая, Кольцов мог читать и писать только урывками, часто тайком от отца. Кроме этого, поэтический труд его был нелегок в том отношении, что юноша ни к кому не мог обратиться за советом и разрешением возникавших сомнений. Он писал как в потемках: кругом не было никого, кто мог бы дать указания, оценить его доставшиеся тяжелым трудом стихи… У прасола еще не было друзей, нравственная поддержка которых позволила бы забыть окружающие невзгоды, мешавшие работе… Натура страстная, открытая для всех благородных чувств вплоть до горького опыта последующей жизни, Кольцов более других нуждался в этой поддержке, в душевном подъеме, чтоб вынянчить свои прекрасные песни… Для «звуков сладких и молитв» был слишком неудобен шум грязных базаров с их руганью, божбою из-за копеек и надувательством… Кольцову для развития его таланта была нужна другая обстановка: величавое спокойствие природы, ее яркие краски, золотые лучи солнца, разгул свободного ветра и безбрежное зеленое море – степь… Если бы он надолго не уединялся от мелочной, грязной жизни базара, если бы он не лелеял своих дум и поэтических грез на вольном просторе, вдали от торгашеского шума жизни, – можно наверно сказать, что в русской поэзии не было бы тех чарующих звуков, какими так богаты песни Кольцова.

Глава II. Степь. Дружба и любовь

Красота степи. – Влияние природы на поэтическую душу. – Степной океан. – Деятельность Кольцова, в степи. – Молодечество прасолов. – Опасности кочевой степной жизни. – Степь – возможность отвлечься от базарных дрязг. – Чтение и писательство в степи. – Жизнь в городе. – Отсутствие руководителя в поэтической деятельности. – Д. А. Кашкин. – Оживление провинции. – Кружки и поэты. – Здравый смысл Кольцова. – Избыток юных сил. – Любовь к Дуняше. – Печальная развязка. – Следы романа Кольцова в его поэзии. – Дружба с Серебрянским. – Благотворное ее влияние на поэта. – Вечера у семинаристов. – Чарующий образ Серебрянского. – Местная известность стихотворца Кольцова. – Жизнерадостная молодость – лучшее время жизни поэта. – Подготовленность Кольцова к общественному служению пером

Степь раздольная
Далеко вокруг
Широко лежит,
Ковылем-травой
Расстилается…
Ах ты, степь моя,
Степь привольная!
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Черному
Понадвинулась…

Так описывал Кольцов своего друга – степь. Чудною, наивною прелестью дышат все кольцовские описания природы: степи, поля, леса. Непосредственная простота этих описаний, так верно передающая явления природы и ее действие на людей, глубоко западает в душу читателя. И эти прекрасные строки могли выйти из-под пера поэта-прасола только потому, что он жил близкою жизнью со степью и полем. Им он обязан своими лучшими вдохновениями.

Если природа глубоко влияет на целые народы, определяя их культуру и характер, если «власть земли» обусловливает собою формы общественных, нравственных и религиозных отношений

целой массы крестьянства, – отношений часто очень сложных, то влияние природы, ее красоты и величия, ее порою грозных сил на восприимчивую поэтическую душу тем более неоспоримо. Вспомним Лермонтова: в первый раз, когда он, почти ребенком, попал на Кавказ, его детская душа была так глубоко потрясена впечатлениями тамошней природы, что отзвуки этих впечатлений наполняли его грудь долго спустя и выливались в страстных и могучих стихах… И потом, во время последующих ссылок поэта, кавказская природа, служившая как бы немым укором людской низменности и пошлости, еще более пленяла автора «Демона», подвигая его на создание могучих, как чудные исполины Кавказа, героев… И этому влиянию кавказской природы на Лермонтова русская или, лучше сказать, мировая поэзия обязана бессмертными и вдохновенными созданиями, которыми будут наслаждаться еще многие грядущие поколения…

Так было и с Кольцовым… Нам знакомы те степи, расположенные в пределах Воронежской и частью соседних с нею губерний, где когда-то гулял поэт-прасол с гуртами скота и трепетно внимал переливающимся звукам песни косаря и томному напеву чумака.[3] Конечно, нынешние степи – только слабый намек на те необозримые пространства земли, лежавшие под «ковылем-травою» в начале нынешнего столетия. Этот когда-то «зеленый океан» теперь значительно обмелел; со всех сторон надвигается на него жизнь; он застраивается селами; народонаселение увеличивается… Но и теперь красота этих степей, где под распашку идет только пятая-шестая часть всей земли, а остальная лежит под травою, поражает. В необозримую даль уходит слегка волнующееся зеленое море, изредка только сверкает под теплым солнцем на этом зеленом фоне крест сельской колокольни… В синей выси заливаются невидимые жаворонки, а по вечерам и ночам в полях гремят перепела… Маленькие лески, как острова на море, темнеют вдали. Воздух, напоенный ароматом поспевающих трав, жадно, полною волною вдыхается грудью и живительно действует на утомленные городскою сутолокою нервы… Хороша степь и тогда, когда на ней зазвенят косы и запестреют группы отбывающих страду людей или когда в теплые летние ночи на ее необозримом просторе замелькают приветные огоньки костров… В лунную весеннюю или летнюю ночь, когда степные озера сверкают под легкою дымкою тумана и сметанные стога стоят, задумавшись, как сказочные великаны, степная природа полна неизъяснимого очарования, от нее веет волшебною тайной. Об этих ночах можно сказать словами поэта, что они:

Наводили сны,
Сны волшебные;
Уносили в край
Заколдованный…

И Кольцов несомненно испытывал это обаяние степной природы. Ему приходилось теперь проводить в степи целые месяцы, лишь изредка заезжая в город. Он знал и восход солнца над этим зеленым морем, и глубокую степную ночь с яркими звездами, и жгучий, палящий полдень… Он знал все переливы красок степи и все мелодии ее воздушных пернатых обитателей. Что он глубоко любил степь и понимал ее красоты, доказывает его поэзия.

К этому времени, то есть когда Кольцову было 18–20 лет, дела его отца расширились и сыну приходилось быть уже настоящим помощником Василия Петровича: он ездил покупать скот, снимал пастбища для корма его и пас отцовские гурты в степи, будучи уже главным распорядителем. Иногда приходилось по целым дням не слезать с лошади и перекочевывать со стадами с места на место. Прасольство не лишено было своего молодечества: вихрем мчаться по степи, навстречу вольному ветру, когда сердце сладко замирает; состязаться в ухарстве с товарищами и приказчиками – все это давало пищу геройству, нередко присущему молодежи, выросшей на воле и свободе… Порою эта жизнь была небезопасна: раз Кольцов еще мальчиком полетел на всем скаку с лошади, и это, кажется, сделало его на всю жизнь сутулым. Раз его, по рассказу Белинского, хотел убить в степи работник. В глухие ночи около поэта бродили волки. Но даже все эти опасности манили поэтическую душу молодого прасола и отвечали той жажде бурных впечатлений, которая наполняла его грудь. Иногда приходилось быть под дождем, в грязи целые дни; порою холодный степной ветер пронизывал до костей; но молодость и крепкое сложение брали свое: Кольцов почти никогда не болел до той роковой болезни, которая свела его в могилу… И даже в эти ненастные, холодные дни – как приветно мелькал огонек в темной степи,

Где спела каша степняка,
Под песнь родную чумака!

А красота степи весною и летом с избытком вознаграждала за печальные дни осеннего ненастья.

Имелись и еще причины, по которым поэт должен был

любить степь: она отвлекала его от базарных дрязг, от божбы и обмана, от жалкой борьбы и погони за грошами. А что мелкая кулаческая деятельность должна была казаться поэту несимпатичной – в этом трудно сомневаться: привычки и условия жизни поставили Кольцова перед необходимостью быть торгашом, но культа из этого занятия он создать себе не мог. Среди величавого простора степи умолкали воспоминания о сутолоке базара, а печальное ремесло торгаша принимало более благородную форму… Однако мы должны указать и на неудобства степной жизни: здесь не было у Кольцова приятелей, в кружке которых в городе он отдавался стихам; не было библиотеки, да и неудобно было много читать. Впрочем, иногда он брал книги с собою и в степь, а стихи писал и под стогом сена, и под кустами, – так, мы знаем, что «Алеху, прасольского сына», застали за сочинением стихов в степи два проезжавших мимо офицера. Что степь, как и вообще природу, Кольцов горячо любил и прибегал к ней как к верному другу не только юношей, душа которого отзывчивее ко всем впечатлениям, но и тогда, когда уже жизнь значительно его потрепала, когда энтузиазм заглох, и сердце начинало черстветь, – это доказывается позднейшими письмами поэта к Белинскому: «Хорошее лето, – писал Кольцов критику, – славная погода, синее небо, светлый день, вечерняя тишь – все прекрасно, чудесно, очаровательно, и я жизнию живу и тону́ своею душою в удовольствиях нашего лета!..» «Степь опять очаровала меня… Я чорт знает до какого забвения любовался ею… как она хороша показалась!»

Но в описываемое время на долю молодого Кольцова и в городе выпадало немало хороших дней. Мы его оставили там за чтением стихов и за потугами при создании их. Прозу теперь он читал неохотно и покупал только книги, написанные стихами. В существовавшей уже и тогда в Воронеже книжной лавке прасол вскоре приобрел себе сочинения Ломоносова, Державина, Богдановича и др. Он много писал, подражая в стихосложении авторам недавно купленных произведений. Стихов у него накопилось уже немало, но не было судьи, на приговор которого он мог бы положиться. И вот, наконец, победив свою робость, застенчивый и неловкий юноша Кольцов решается обратиться к книгопродавцу, у которого приобретал книги: краснея, вручает он ему свои «Три видения» и несколько других стихотворений с просьбою прочитать их и дать отзыв.

Этим книгопродавцем был Дмитрий Антонович Кашкин, человек в свою очередь интересный и замечательный. Пробив себе дорогу тяжелым трудом, Кашкин, не получивший никакого школьного образования, не заглушил, однако, в этой борьбе с

суровыми условиями жизни стремления своей души к свету, когда все кругом еще утопало в кромешной тьме. Он, несмотря на незначительные средства, сумел дать своим детям солидное образование, и некоторые из них и теперь еще известны как даровитые люди (например, один – профессор Московской консерватории).

Скромный книгопродавец сумел даже стать светочем для поэта Кольцова при вступлении последнего на поэтическое поприще. Кашкин обладал чуткою и симпатичною душою. Когда пришел к нему плохо одетый, невзрачный мальчик Кольцов с заветною тетрадкою, Кашкин не посмеялся над ним: он обласкал его, разрешил бесплатное пользование своей библиотекой при магазине и подарил ему, для того чтобы тот лучше научился правилам стихосложения, «Русскую просодию». Правда, он нашел первые опыты поэта неудачными, но ободрил юношу и поощрял на дальнейшее писательство.

Мальчик горячо привязался к оригиналу-книгопродавцу, постоянно бывал у него в магазине, рылся в книгах, посещал и его дом. Посетители магазина Кашкина часто встречали там одетого в засаленный нагольный полушубок или старую чуйку юношу Кольцова, с любопытством рассматривающего или читающего что-нибудь новое. Знакомство с Кашкиным было очень важно для поэта: оно служило для него образовательною школой; а то обстоятельство, что Кашкин поощрял опыты юноши и исправлял их, давало начинающему стихотворцу силу не отчаиваться в своем призвании.

Здесь мы должны сказать, что замечания о Кашкине в известной биографии Кольцова, написанной Белинским, неточны и сделаны, вероятно, на основании последних отзывов поэта об одном из первых его друзей и наставников, с которым, однако, Кольцов по своей вине впоследствии разошелся. Кашкин был человек начитанный, чуткий и знавший, несомненно, толк в поэзии, так что он не мог играть той роли, какую ему приписал Белинский, и оказаться будто бы не в состоянии отметить недостатки стихов поэта-юноши, отделавшись от него только «Просодией». Напротив, несомненно, что Кашкин не только исправлял опыты Кольцова, но и давал ему темы, подробно обсуждал с ним все относящееся до поэзии и вообще имел большое влияние на его развитие. Это ясно подтверждается многими свидетельствами и между прочим черновыми тетрадями поэта, где есть посвященные книгопродавцу восторженно-благодарные стихотворения. Даже известные стихи к Серебрянскому:

Не посуди, чем я богат —
Последним поделиться рад, —

в сущности, в помянутых выше тетрадях посвящались Кашкину. Но потом, когда поэт, избалованный своим успехом у литературных светил, вздумал довольно нетактично и свысока третировать прежних друзей, и те разошлись с ним, эта пьеска была посвящена Серебрянскому.

Кашкин, помимо личного благотворного влияния на поэта, сослужил ему службу еще и тем, что стал, так сказать, дверью для входа его в литературные кружки, которых было тогда несколько в Воронеже.

Под влиянием первых симпатичных лет царствования Александра I и знакомства – благодаря более живому общению с Западом – с богатой европейской литературой и общественными порядками в русское общество, как известно, хлынул поток новых идей, проникших и в глухую провинцию. Вследствие этого обстоятельства и, в частности, под обаянием блестящей славы Пушкина в Воронеже, как и в других городах на Руси, возник интерес к литературе и чтению, и образовались литературные кружки, группировавшиеся около Кашкина и других лиц, а также в семинарии и гимназии. Здесь читались поэты, происходили споры, обсуждались стихотворения членов кружка и слушались последние литературные новости. Кружки издавали рукописные альманахи, где в качестве поэтов часто выступали лица купеческого сословия. Кольцов благодаря Кашкину встречался с ними, присутствовал на собраниях кружков, знаком был, например, с молодым Придорогиным, впоследствии известным другом Никитина. Вообще время с 1825 по 1830 год – время «избытка жизни», пора духовного и физического роста поэта – было важною эпохою в его развитии. Тут в нем окончательно окрепло стремление к творчеству, поощряемое его новыми знакомыми. В эти годы он испытал первую любовь, и их же осветила теплая и искренняя дружба поэта с Серебрянским.

Несомненно, и тщеславие могло играть известную роль в стремлении Кольцова писать стихи: он желал таким образом отличиться перед другими членами кружков, желал показать, что и он «не лыком шит», а «сочинитель». И теперь еще в нашей провинции имеются «поэты» и «кружки», упорствующие в сочинительстве в то время, когда ни форма, ни содержание их работ не оправдывают этого упорства. Поэты подобного сорта, произведения которых – увы! – так изобильно заполняют собою корзины редакций и страницы «почтового ящика» периодических

изданий, в сущности, весьма похожи на чичиковского Петрушку: очень, правда, хитрая штука – приставил строчку к строчке, рифму состряпал – и выходит «стих»! Право назвать себя «сочинителем» или «стихотворцем» до сих пор ценится даже в медвежьих углах нашего обширного отечества. Это явление указывает на то уважение к представителям «слова», которое хотя медленно, но все же проникает в массу. Повторяем, известное тщеславие могло подстегивать и Кольцова, когда он начал писать много стихов. Но все-таки мы тут имеем дело с настоящим поэтом, у которого «кровь кипела» и был «избыток сил», с поэтом, сумевшим бы найти дорогу, несмотря на препятствия: в бессвязных виршах прасола начинают уже попадаться простые, чистые звуки, в которых можно узнать будущего Кольцова… И сама жизнь поэта в эту пору давала источник для поэтических вдохновений. В городе Кольцов часто посещал зятя своего Башкирцева, чей дом был поставлен на более светскую ногу: там нередко устраивались игры, песни, чтения. Отец поэта, сначала было косившийся на книги и занятия сына «пустяками», примирился с этим, когда увидел, что он и делом занимается хорошо.

Мы должны по поводу этих занятий поэта торговым делом обратить внимание на замечательное и счастливое соединение в Кольцове здравого смысла, основательности и положительности с поэзией. Не всегда эти качества совмещаются в одном лице, но в нем такое совмещение случилось, что отразилось почти на всех его произведениях с их «трезвенною» правдою, следованием реальности, ясным и точным пониманием дела, о котором поэт пишет. Кольцов вырос в торговой среде, привыкая к ней чуть не с пеленок. И в эту сферу он, конечно, не мог не внести своих способностей. Мы уже отмечали выше примиряющие и даже поэтические стороны прасольства: поездки по степям, заезды в деревни, пирушки и хороводы там. Во всяком случае, добрая половина торговой деятельности Кольцова за это время могла задевать живые стороны его характера… Но вместе с тем поэт получил от отца его практичность, знал цену копейке и в эмпиреи не ударялся… Но, указывая на эту «трезвенность» поэта в делах практических, мы не должны забывать, что у него, помимо торговли, была «святая святых» – мир его поэтических грез и творчества.

«Практичность» и «положительность» Кольцова (значительно, заметим, смягченные Белинским) объясняют то явление, что многие петербургские и московские литераторы не могли при встречах с прасолом, когда Станкевич и Белинский «вывозили» его в свет, примириться с мыслью, что перед ними поэт, а не

простой торговец.

Катков в своих воспоминаниях о Кольцове сообщает, что поэт даже щеголял практичностью и с некоторым ухарством рассказывал о своих торговых проделках, о том, как он «надувал» неопытных покупателей и продавцов.

– Уж если торгуешь, все норовишь похитрее дело обделать: руки чешутся! – говорил прасол.

– Ну, а если бы вы, Алексей Васильевич, с нами имели дело, – спросил Белинский, – и нас бы надули?

– И вас, – отвечал Кольцов, – ей-Богу, надул бы… Может быть, и вдвое потом бы назад отдал, а не утерпел бы: надул!

В то время, о котором мы говорим, Кольцов еще глубоко не задумывался над своим положением и «брал от жизни все, что она может дать». Юность делала свое. Силы кипели, избыток их искал себе выхода. Это время, кажется, было самым лучшим временем в жизни Кольцова. Запросы его натуры находили удовлетворение; степь несла ему свои простор и красу; он был не только принят в кружках стихотворцев из воронежской молодежи, но уже отмечался в них как талантливый автор. Наконец, эту пору его жизни украсили самые прекрасные вещи на земле – любовь и искренняя дружба, наложившие такой поэтический отпечаток на дальнейшее существование Кольцова и его произведения.

Флегматичный и сдержанный по виду, Кольцов был, однако, способен на проявление горячей страсти, и для нее скоро нашлась подходящая пища в самой семье поэта. У Кольцовых жила прислуга (крепостная), у которой была дочь Дуняша, замечательная красавица. Она состояла постоянно при сестрах поэта и росла больше в положении их подруги, чем горничной. На красавицу заглядывалась вся улица, и, понятно, близость страстного Кольцова к Дуняше не могла повести к добру: он полюбил девушку со всем пылом юности, со всей энергией чувства, на какую только способен восемнадцати-девятнадцатилетний молодой человек. Дуняша отвечала взаимностью, хотя и скрывала это от сестер. Есть слух, что она рассчитывала на замужество с хозяйским сыном. Но, конечно, намерение женить сына на крепостной не входило в планы Василия Петровича, который уже снова мечтал породниться с представителями родовитого купечества. И этот горячий, страстный роман, последствия которого, кажется, начинали обнаруживаться в положении девушки, окончился печально: Дуняшу вместе с матерью продали какому-то донскому помещику во время отлучки ее милого по делам. Возвратившись из поездки, поэт уже не нашел Дуняши. Это его так потрясло, что он заболел и, едва оправившись, бросился на поиски. Впоследствии

оказалось, что Дуняша была замужем за казаком в какой-то станице. Но слова Белинского, что она «умерла в муках жестокого обращения», едва ли справедливы. Напротив, положительно известно, что Дуня жила счастливо и после смерти Алексея Васильевича приезжала к его родным. Но, во всяком случае, этот эпизод с Кольцовым дал русской поэзии несколько бесценных перлов. Жизнь исполнена странных противоречий. Любовные страдания поэта, вылившись в прелестных стихах, заставляли читателей захлебываться от восторга и наслаждения. Поэт в нынешнем обществе, терзаясь и умирая от мучений, но, изливая их в красивых и прочувствованных строфах, получает от толпы, как в римском цирке умирающий в красивой позе гладиатор, восторженные рукоплескания и одобрения…

Этот грустный роман с красавицей Дуняшей, девушкой с тяжелыми русыми косами и карими глазами, отдававшей свои ласки поэту, оставил неизгладимый след в поэзии Кольцова и согрел его жизнь одним из самых радужных воспоминаний. Следы этого романа остались в прекрасных, глубоко прочувствованных стихах, обошедших в книжках и романсах всю Русь. След этого эпизода виден, например, в «Последнем поцелуе». Кому неизвестны прекрасные стихи:

Обоими, поцелуй,
Приголубь, приласкай,
Еще раз, поскорей,
Поцелуй горячей!
…….
Как мне мило теперь
Любоваться тобой:
Как весна хороша
Ты, невеста моя!

А эти чудные строфы «Разлуки»:

На заре туманной юности
Всей душой любил я милую…
Был в глазах ее небесный свет,
На лице горел любви огонь!

Но юность опять-таки взяла свое: Кольцов оправился от постигшего его горя. А тут, как бы в подмогу силам молодости, подоспело и новое чувство – дружба с Серебрянским.

Дружба с Андреем Порфирьевичем Серебрянским должна

быть отмечена в жизни Кольцова как одно из самых светлых и плодотворных событий. Есть такие люди, которые какой-то необъяснимой тайной влекут к себе все сердца, толпа единогласно признает их «вождями» и подчиняется с наслаждением производимому ими обаянию. Серебрянский, ровесник Кольцова, был одним из таких людей. Красивое, симпатичное лицо и задушевный голос сразу привлекали к нему сердца. Сын священника, он, по обычаям среды, к которой принадлежал, поступил в семинарию, но сушь и схоластика тогдашней семинарской школы не заглушили в нем блестящих дарований. Его сильный и живой ум, легко справляясь со всеми тонкостями семинарского богословия и философии, горячо увлекался всякою злобою дня и отдавался интересам текущей литературы. Любимец учителей, признававших в нем громадные дарования, кумир молодежи, натура глубоко прекрасная и искренняя, наделенная поэтическим талантом, Серебрянский не мог не влиять на Кольцова, и поэт-прасол привязался со всею силою молодого, не испорченного еще чувства, на какое только был способен тогда, к новому приятелю.

По современному рассказу, окончательное знакомство Кольцова с Серебрянским произошло в гостинице, около рощи, на берегу Воронежа, где часто гуляла учащаяся молодежь. Поэт зашел в эту гостиницу, где собрался в особой комнате кружок семинаристов. Кольцов, вероятно встретивший знакомых в этой компании, вступил с ними в разговор. Говорили о последних появившихся книгах и спросили между прочим Кольцова, что из прочитанного за последнее время ему больше понравилось.

– «Письмовник» Курганова – очень интересная книга, – заявил скромный поэт.

Это вызвало насмешки. Тогда встал Серебрянский и, блестяще импровизируя, со свойственным ему юмором сказал «похвальное слово» Курганову, что вызвало страшный хохот окружающих и сконфузило Кольцова. Серебрянский, любивший иногда пройтись шутливо над слабостями ближнего, но обладавший нежным сердцем, заметил неловкость положения поэта и постарался замять эту сцену. Кольцов, раньше еще знавший о Серебрянском, ушел совершенно очарованный новым знакомством… Это свидание на берегу реки, в гостинице, положило начало их долгой и искренней дружбе.

И это было ценною находкою для Кольцова. Живой, начитанный и образованный Серебрянский являлся во многом учителем для прасола, тем более незаменимым, что в отношениях учителя к ученику не проявлялось педантизма профессионального наставника, а общение было свободное,

живое и равноправное. Серебрянский ввел друга в свой семинарский кружок, где был сам видным деятелем и считался знаменитым поэтом. Кружок часто собирался у кого-нибудь из членов; там читали стихи, говорили речи, спорили до утра, играли на гуслях и под аккомпанемент этого нашего старинного инструмента и баянов пели народные песни. Духовенство, сохранившее как замкнутое сословие в наибольшей чистоте великорусский тип, было само плотью от плоти народной. И нет ничего невероятного в предположении, что эти вечера с семинаристами, певшими широкие народные мелодии под звон старинных гуслей, были полны впечатлений, вместе с другими влияниями толкавших Кольцова к русской песне, в которой он впоследствии стал незаменим. А споры людей, прошедших известную умственную гимнастику и обнаруживавших иногда в своих суждениях тонкую диалектику, должны были расширять умственные горизонты молодого прасола и изощрять его собственное мышление. В кружке Серебрянского были представители всевозможных умственных направлений, имелись и атеисты…

В этом кружке «верующий и надеющийся» Серебрянский прочитал свою поэму «Бессмертие», причем один постоянный его оппонент-атеист поклонился ему в ноги за поэтическое доказательство «вечной жизни». Вероятно, этот же кружок впервые запел прекрасную песню Серебрянского, облетевшую всю нашу родину, – песню, которая и теперь еще слышится, когда сходится молодежь:

Быстры, как волны,
Дни нашей жизни!
Что день, то короче —
К могиле наш путь…

Тут же, в этом кружке, нервный Серебрянский при чтении стихотворения Ф. Н. Глинки «Земная грусть» залился слезами… Все эти черты рисуют пленительно-чарующий образ кольцовского друга. Такие люди, с их горячею верою в идеалы, теплою и любящею душою, как бы созданы для того, чтобы собирать около себя толпы, облагораживать их и вести к «правде и свету». Но – увы! – климат нашей родины слишком еще суров для этих чудных цветов, и они гибнут в нем, как погиб и Серебрянский, «не успевши расцвесть»!

Ко времени знакомства с Кольцовым Серебрянский, обладавший несомненным художественным вкусом, прекрасно владел техникою стиха, и для прасола это было чистым кладом:

друг его, основательно знакомый с тайнами стихосложения, все еще плохо дававшимися Кольцову, делал указания последнему, исправлял неудачные стихотворения, переделывал и выкидывал из них целые куплеты… И приговор Серебрянского являлся для Кольцова окончательным. Долго еще и впоследствии он был строгим цензором произведений своего приятеля-прасола. Возникло даже предположение, что вследствие разных случайностей некоторые стихотворения Серебрянского вошли в собрание стихов Кольцова, как это, например, почти с точностью установлено насчет думы «Великое слово», в которой многие куплеты принадлежат другу прасола. Как бы то ни было, но в описываемое время благодаря упорным стараниям и помощи приятеля Кольцов начинает справляться с внешней стороной стихов и в кружках воронежских любителей-поэтов считается уже известным стихотворцем. Правда, большинство его произведений этого периода совсем не напоминают ни формой, ни содержанием того, чем мы обыкновенно восхищаемся в Кольцове: в них нет простоты и силы чувства. Все это были большею частью условно-фальшивые, сентиментальные произведения, – и если бы деятельность Кольцова ограничилась только работами такого сорта, то, разумеется, его нельзя было бы считать замечательным поэтом. Но следует опять-таки сказать, что даже в этот период в стихах прасола иногда проскальзывают черты, которые мы так привыкли в нем ценить.

Рассказы о грубой среде, окружавшей поэта, об отчужденности от не понимавшего его общества совершенно неприменимы к молодости Кольцова. Он бывал у Кашкина и в разных других кружках, бывал часто у сестры своей, Башкирцевой, где собиралось порою разнообразное общество, наконец, постоянно встречался с Серебрянским и его товарищами-семинаристами.

Остановимся же еще раз на этой поре молодости поэта, прежде чем перейти к дальнейшему изложению… Нам потому не хочется оставлять ее, что образ Кольцова в это время представляется наиболее симпатичным: жизнь еще не изломала молодого прасола, его сердце было открыто для лучших чувств – дружбы и любви, он не был еще тем «кремнем», каким все его знали впоследствии. Силы Кольцова кипели ключом, и благодаря этой его жизнерадостности были незаметны в нем зародыши тех привычек, привитых строем окружающей жизни и полученных по наследству, которые впоследствии кажутся такими несимпатичными… Каждый человек в сущности представляет смешение хороших и дурных качеств. Но нам, конечно, больше свойственно представлять замечательных людей во всем блеске и

красоте их нравственных добродетелей: мы часто забываем при этом, что человек не сваливается к нам прямо с неба существом ангельски совершенным, а являет собою продукт часто очень печальных условий жизни, способных только извратить и испортить вконец его счастливые дарования…

И в Кольцове впоследствии это смешение хороших качеств с худыми представляется очень сильно выраженным. Горячий друг и поклонник Белинского, питавшего самые возвышенные идеалы, он погружается в самую грязную прозу жизни… Воспевая крестьянина, сочувствуя его горю и радостям, поэтизируя его труд, Кольцов впоследствии оказывается не совсем справедливым по отношению к этому же крестьянину в тяжебных делах, обделывая их при помощи титулованных благоприятелей в свою пользу… Печальная и известная история противоречий души человеческой, способной порою на возвышенные подвиги, но иногда надолго и с относительным спокойствием погружающейся в «тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей»!

Итак, мы видим Кольцова в описываемое время уже в известной степени подготовленным к общественному служению пером. Он уже испытал чары и грусть любви, он беззаветно отдавался дружбе, постоянно соприкасался с живой, неподкрашенной народной жизнью и, наконец, с уверенностью чувствовал в себе присутствие поэтических сил. В душе его давно уже звучали прекрасные народные мотивы, слышанные в раздольной степи, и ждали художественной переработки. И постоянная работа Кольцова над собою, чтение книг и неудержимое стремление писать стихи, служившее как бы залогом того, что сфера поэзии– его стихия, – не прошли даром для русской литературы.

Глава III. Первые литературные успехи Кольцова

Писание Кольцовым стихов. – Любовь к стихам в обществе. – Знакомство с «настоящим» литератором. – Первые напечатанные стихи. – Знакомство со Станкевичем. – Недолгая жизнь русских талантов. – Опубликование в московских изданиях стихотворений Кольцова. – Первая поездка в Москву. – Жизнь Кольцова с 1831 по 1836 год. – Наружность Кольцова. – Поэтические стороны прасольства. – Наивная вера Кольцова. – Знакомства поэта. – Отношения его с окружающими. – Склонность к народным мотивам. – Зародыши разлада в жизни Кольцова. – На бойне, «по колено в крови». – Издание стихотворений Кольцова Станкевичем. – Известность поэта

Мы уже видели, что Кольцов усердно занимался писанием стихов: в 1826—27 годах он пишет их десятками и несет на суд то к Серебрянскому, то к Кашкину. В одном из стихотворных посланий к последнему поэт сообщает, что постоянно «питает дух изящностью», намекая на чтение и писание стихов. В этом азарте к стихотворной работе Кольцова поддерживало как содействие упомянутых лиц, так и общие тенденции кружков, где господствовало увлечение стихами. Нам, конечно, может казаться смешным это вымучивание из себя рифм, которому предавались многие представители воронежского общества, это взаимное соревнование стихотворцев. Но мы не должны отрываться от исторических условий, в которых развивалось провинциальное общество того времени. Слишком еще не подготовленное для плодотворной научной работы и лишенное возможности практически действовать в области общественных вопросов, это общество, рвавшееся из душной действительности, находило отвлечение от «грязи жизни» в светлой области поэзии, красоты которой были доступны и для людей неученых и простых. Здесь воспитывалось более симпатичное отношение к женщине, воспевались благородные поступки и восхвалялся героизм. Занятия стихами все-таки поддерживали в грубоватом, обреченном судьбою на заботы о хлебе насущном и прозябание провинциальном обществе интерес к области умственных вопросов. И такая школа развития у юных, только что выступающих на путь образования обществ являлась обыкновенно

предшественницей других, более разнообразных умственных интересов.

И для Кольцова эта сфера поэзии могла играть такую же роль. Несомненно, что окружающая обстановка и в это «жизнерадостное» для него время давала порою знать себя своими тяжелыми сторонами. Вот в такие-то часы «святая святых» – поэзия – посылала поэту-прасолу забвение от тягот жизни и освещала своим волшебным светом житейские дебри.

Местная известность у Кольцова уже была, но ему еще не хватало того, к чему так жадно стремятся юные, сомневающиеся в своих силах писатели и что составляет венец их желаний: появления стихов в печати. Очень понятно также, что Кольцов давно желал познакомиться с «настоящими» литераторами, произведения которых уже печатались.

Около 1830 года через Кашкина поэт познакомился с заехавшим в Воронеж одним из таких литераторов, Сухачевым, печатавшим кое-где свои стихи. Прасол вручил ему несколько стихотворений, из которых одно было напечатано в сборнике Сухачева («Листки из записной книжки») без подписи Кольцова: это была первая опубликованная пьеса поэта-прасола (1830 год).

Но около того же времени Кольцов познакомился с человеком совсем иного калибра. Это знакомство имело громадное влияние на всю его последующую жизнь и литературную известность и ввело скромного воронежского прасола в круг людей, при имени которых благоговейно сжимается сердце у всякого образованного русского. Это был Николай Владимирович Станкевич.

Чем-то радужным и светлым веет от воспоминаний об этом человеке знавших его людей. Это была одна из тех замечательных личностей, которые не всегда известны обществу, но благоговейные и таинственные слухи о которых переходят из поколения в поколение, окружая память их почти легендарным поклонением. Станкевич сам, как известно, почти ничего не писал, но это, однако, не мешает нам ценить его заслуги на поле русской литературы: его благородные мысли и симпатичные стремления из тесного кружка друзей и поклонников перешли на страницы русских книг и волновали сердца как современников, так и последующих поколений. Роль таких вдохновителей целого кружка талантов – того незаметного центра, от которого по всем радиусам расходятся лучи знания и мысли, – часто остается в тени, но в данном случае на долю Станкевича выпала достойная его оценка: благодарная память людей окружила светлым ореолом его образ… увы, и судьба Станкевича, как и судьбы многих других лиц, подтвердила давно уже замеченное в русской жизни печальное явление, о котором мы говорили выше, –

истинно талантливые и хорошие русские люди умирают рано, не успевая развернуть всех своих сил. Известно, что и Станкевич умер молодым человеком (1840 год), раньше Кольцова, между тем как Руничи, Гречи, Магницкие и Булгарины жили сравнительно долго.

Станкевич был сыном очень богатого воронежского помещика. Знакомство его с поэтом-прасолом произошло в 1830 году, в один из приездов Станкевича, бывшего в то время студентом Московского университета, в свою деревню (Острогожского уезда) на каникулы. Из деревни Станкевич довольно часто приезжал в Воронеж, где, вероятно, и познакомился с Кольцовым в единственной книжной лавке, у Кашкина. Рассказывают, впрочем, что это знакомство произошло несколько иначе. У отца Станкевича был большой винокуренный завод, на котором откармливались на барде[4] быки Кольцова. Студент Станкевич, ложась спать, никак не мог дозваться своего камердинера. Когда тот пришел, Николай Владимирович спросил его, где он был так долго.

– Прасол Кольцов ужинал с нами, – объяснил камердинер, – читал свои песни и стихи… Очень хорошо… Вот я и замешкался.

И слуга, запомнивший несколько отрывков из слышанного, прочитал их барину. Станкевич заинтересовался прасолом, просвещавшим его дворню, и пригласил на другой день Кольцова к себе.

Как бы то ни было, но Станкевич познакомился с Кольцовым, очень любезно обошелся с ним и принял участие в его судьбе. Он прочитал стихи прасола и одобрил их. Насколько был прост и добр Станкевич, сын богатого дворянина, и насколько казался ему интересным этот «сын народа», неуклюжий, с густо напомаженными волосами, в длинной синей чуйке и картузе, – показывает тот факт, что в приезды свои в Москву поэт-мещанин останавливался прямо у помещика. Такая близость в ту пору, когда еще между «благородным» сословием и «хамами» стояли прочные, чуть не китайские стены, делает честь гуманному и симпатичному Станкевичу. С другой стороны, как этот факт, так впоследствии и горячая любовь и уважение к Кольцову со стороны Белинского, и та почти восторженная радость, которую при приездах поэта в Москву и Петербург испытывал наш знаменитый критик, указывают, по нашему мнению, на то, что в невзрачном и неинтересном по виду прасоле таились могучие силы, заставлявшие лучших людей того времени, чутких к добру и знавших жизнь, привязываться к нему. Эти факты больше всех искусственных и взвинченных похвал поэту говорят о его богатой натуре и объясняют тот интерес, который он возбуждал у

современников.

Вскоре после знакомства со Станкевичем, в 1831 году, в некоторых московских изданиях появились стихи Кольцова, уже с его подписью: так, в газетке «Листок», издававшейся Артемовым, были напечатаны несколько пьес поэта, а в «Литературной газете» – стихотворение «Перстень», присланное в редакцию Станкевичем. Это, конечно, должно было очень льстить Кольцову: мечты его исполнялись, – произведения появились в печати… Но помимо этого опубликование его стихов, хотя пока еще и неважных, имело и более существенное значение: оно дало поэту уверенность в своих силах, подбодрило его, а в Воронеже расширило круг его знакомых, которые относились теперь к Кольцову уже как к «печатавшемуся» литератору. И то и другое не могло не отозваться самым благотворным образом на настроении и на деятельности поэта.

В это же время Кольцов совершил свою первую поездку в Москву, где остановился у Станкевича. Благодаря последнему поэт приобрел в столице несколько знакомых, впоследствии довольно важных для него. В эту же первую поездку он познакомился и с Белинским, лучшим другом его и утешителем в тяжелую пору жизни. Но сближение с нашим известным критиком произошло впоследствии, во вторую поездку прасола в Москву (1836 год). О первой поездке Кольцова в «сердце России» почти не имеется никаких сведений. Но он приехал оттуда окрыленным самыми светлыми упованиями: он был принят как свой человек в кружке людей, составивших потом славу и гордость родины, и получил от них, так сказать, благословение на свою дальнейшую работу.

Молодой человек, имевший крепкое здоровье, обладавший уже и в то время значительною самостоятельностью в торговых делах, единственный сын достаточного отца, Кольцов, естественно, не мог скучать и пользовался жизнью со всем пылом молодости и страстной своей натуры. Хотя он и говорит про свои молодые годы:

Скучно и нерадостно
Я провел век юности!
Жил в степи с коровами,
Грусть в лугах разгуливал… —

все же эти слова – только поэтическая прикраса того, что было на самом деле. Помимо молодости и здоровья, этих незаменимых благ, с которыми легко переносятся часто и действительные лишения, у Кольцова была уже и местная

известность, дававшая значительную пищу его самолюбию. Стихи расширили круг его знакомых и ввели самого поэта в салоны, о которых прежде скромный и застенчивый прасол не мог даже и мечтать; кроме того, немало у него было любовных приключений в городе и, особенно, в деревнях, где молодой «прасол Алеша» являлся всегда желанным гостем. Кольцов был некрасив лицом, но эту некрасивость сглаживали умные, выразительные глаза, смотревшие обыкновенно сурово. Некрасивое лицо его преображалось под влиянием мысли, страсти или искры таланта и становилось привлекательным, а глаза широко раскрывались и горели. Кольцов умел и плясать, и петь, и все эти свойства, да еще и то, что он был «стихотворец», доставили ему немало любовных историй, для которых в особенности степь могла служить широкою и вполне поэтическою ареной. Самое прасольство, как мы уже говорили, с его скитаниями по степи, разубранной весною и летом в яркие краски, должно было приносить в это время немало радостей поэтической душе Кольцова. «Прасол поясом опоясан, сердце пламенное, а грудь каменная», – так говорит местная поговорка об этом поэтичном ремесле, описывая прасола, как какого-нибудь романтического героя. Кольцов в эти годы не мог не любить своего дела: он был прасол в душе, по призванию. В деревне и в степи исчезали его угрюмость и суровость. Сын степи, не оторванный еще от нее позднейшею болезнью, он усвоил наивную веру местных степных легенд и преданий и серьезно, например, полагал, что на состояние скота влияет личность прасола и его «дурной глаз». «Эфто бывает», – говаривал обыкновенно Алексей Васильевич Станкевичу… В это время жизнь поэта благодаря здоровью и молодости оставалась цельной, и Кольцов не ощущал еще разлада между светлым миром грез и действительностью; не было еще у поэта сознания того, что он глубоко невежественный по своим сведениям человек, и не знал он еще несокрушимой скорби о том, что годы невозвратно уходят, а страстно желаемое образование невозможно. Все это явилось потом, когда отцовские дела несколько расстроились и когда из блестящего кружка московских и петербургских знаменитостей, встреченных в позднейшей поездке, поэт попал снова в родное болото.

Поэт пока брал от жизни все, что только было возможно. Правда, в описываемый период с ним не было его друга Серебрянского, поступившего в Московскую медико-хирургическую академию и только изредка показывавшегося в Воронеже. Но у Кольцова было немало и других знакомств. К нему заезжал Станкевич во время своего пребывания в деревне: он бывал у прасола в доме, но неизвестно, ездил ли Кольцов к

Николаю Владимировичу в имение, – вероятно, и это бывало. Поэт часто встречался с Кашкиным, нередко видели его, в длинной синей чуйке до пят, гуляющим со знакомыми семинаристами и гимназистами по бульвару. По рассказу его приятеля А. М. Юдина, Кольцову жилось неплохо. Юдин встречался с ним у директора и учителей гимназии. Молодой прасол бывал часто и у профессора семинарии Вельяминова, человека просвещенного, брал у него книги и пользовался его советами. У него же он познакомился с известным Аскоченским, напечатавшим впоследствии трогательные воспоминания о последних днях жизни поэта. Этот Вельяминов своими литературными связями способствовал помещению нескольких стихотворений Кольцова в тогдашних журналах. А. М. Юдин нередко бывал в описываемый период у поэта; Кольцов жил во флигеле дома, в особом помещении; у него была большая библиотека, он много читал, по преимуществу произведения изящной словесности. Впоследствии в скромном помещении поэта на стенах появились портреты известных писателей, подаренные Кольцову некоторыми из них; в числе «ученых» предметов находился череп, неизвестно зачем украшавший рабочий столик… Юдин рассказывает, что они с Кольцовым часто беседовали о произведениях последнего, причем прасол по примеру многих поэтов при всяком удобном и неудобном случае читал стихи – свои и чужие… Но такая надоедливость слушателям объяснялась и извинялась тем глубоким интересом, который питал Кольцов к этой области литературы, и его жаждою получить советы и указания от людей мало-мальски знающих.

Обстановка в семье поэта в это время не представляла ничего печального. С отцом, убедившимся в торговых дарованиях сына, Кольцов жил ладно, хотя оба обладали очень непокладистыми и суровыми характерами. В отце этот характер окреп под влиянием долгих прожитых лет, но у молодого Кольцова душа благодаря воздействию друзей и поэзии часто смягчалась, и, как мы видели, он был способен на самые искренние привязанности. А тут еще вблизи Кольцова подрастала и развивалась сестра его, симпатичная и с поэтическими дарованиями девушка, дружба с которою принесла ему немало светлых минут. Но эти дружеские отношения завершились в последние годы жизни поэта – по причинам, вполне еще до сих пор не выясненным, – печальною размолвкой. Вместе с сестрами Кольцов, тяготившийся суровыми домашними порядками, заведенными стариком, часто бывал у зятя своего, Башкирцева, где дом был «полная чаша» и где режим был гораздо либеральнее.

В описываемое же время в Кольцове проявляется большая

склонность к народным мотивам в стихах. Это могло быть как следствием чутья самого поэта, находившегося под постоянным влиянием природы и народной жизни, так и указаний Станкевича и других лиц, видевших, что произведения народного характера больше всего удаются поэту. Во всяком случае, народные мотивы с этого времени все чаще и чаще звучат в поэзии Кольцова.

Хотя мы и указали на отрадные и светлые стороны жизни Кольцова в молодости, но далеки от того, чтобы считать вполне нормальными для поэта те условия, в которых пришлось ему существовать. В этих условиях несомненно таился зародыш трагизма, который после, когда прошла скрашивавшая тяготы жизни молодость, развернулся во всей своей губительной силе… Восстанавливая факты прошлого Кольцова в их истинном значении, мы только желаем показать, что слишком мрачное представление о среде, окружавшей поэта, не выдерживает критики и что он, сильный своею молодостью и творческими способностями, вовсе не чувствовал в описываемое время тех мук и страданий, которые мерещились его горячим друзьям и поклонникам.

Но, во всяком случае, этот мир торгашества и наживы исключал поэзию… И мы с большой грустью представляем себе те моменты жизни поэта, когда этому глубоко чувствовавшему человеку было не по себе… Поэт, стоявший на базарах у возов с салом и поставленный условиями своей профессии перед необходимостью «дороже продать, дешевле купить», должен был нередко испытывать тяжелые разочарования… В его голове, под тяжелым прасольским картузом, часто бродили возвышенные мысли, а под грубою синею чуйкой билось сердце, сладостно замиравшее от восторга при чтении Шекспира и других поэтов… И в минуты тоски, среди шумного базара, ему, вероятно, хотелось бы унестись от «грязной» действительности в страну «волшебных снов», умчаться в «край заколдованный»… Но еще страшнее кажется нам другая картина, когда поэт, провозвестник гуманности, добра и красоты, возбуждавший своими песнями жалость в сердцах, должен был, по своему прасольскому ремеслу, присутствовать – «по колено в крови» – при убое скота, производящемся еще и теперь в провинции страшно варварским способом… И хорошо еще, что поэт обладал такой жизнеспособной натурой, такой счастливой организацией, что эти сцены торгашества и тяжелые зрелища лишь скользили по душе, ненадолго волнуя ее и скоро уступая место другим впечатлениям; хорошо еще, что степь принимала его надолго в свои гостеприимные объятия, отвлекая от суеты, мелкого обмана и торгашества! Хорошо, что у него были друзья и книги с их

необъятным миром благородных грез, с их светлыми очарованиями другой жизни!

Так шло время Кольцова: между книгами, степью, друзьями и торговлей… Наступил и 1835 год. Станкевич раньше еще предлагал издать за свой счет стихотворения прасола. Поэт мог потерять на торговых операциях тысячи рублей – это не было бы поставлено ему в вину, по торгашеской пословице: «Убыток с барышом на одном полозу ездят», – но, понятно, старик-отец не позволил бы сыну потратить и нескольких десятков рублей на «баловство», или, по крайней мере, это бы его рассердило, так как он на писание сыном стихов смотрел как на пустое занятие и только примирялся с ним, видя, что оно не мешает делам.

Впоследствии, увидев, что «Алеша» с князьями да генералами водится, отец стал относиться гораздо благосклоннее к стихам сына и его литературным связям. Но пока еще было далеко не так, и вот причина, почему стихотворения Кольцова издал Станкевич. Он из довольно увесистой тетради выбрал только 18 пьес, показавшихся ему лучшими, и напечатал их маленькой опрятной книжечкой. Есть, однако, указания на то, что это издание осуществилось на средства нескольких лиц, и что Станкевичу принадлежала только главная роль и большая сумма пожертвования. Книжечка стихотворений Кольцова была напечатана в Москве в 1835 году и доставила прасолу большую известность в литературном мире. Правда, при этом больше всего действовало указание на то, что автор – «поэт-самоучка», «поэт-прасол», и если бы эти 18 стихотворений были написаны каким-нибудь человеком с дипломом высшего учебного заведения, то впечатления бы такого не получилось. Но, однако, помянутые стихотворения если и не были произведениями вполне расцветшего, большого и окончательно сформировавшегося таланта, то, во всяком случае, позволяли многое ждать от самоучки-автора в будущем.

До сих пор еще во многих воронежских семействах хранятся эти книжечки с собственноручной надписью Кольцова, подаренные самим поэтом его тогдашним знакомым и друзьям. Со времени появления первой книжки интерес к «поэту-прасолу» растет в Воронеже, он приобретает много новых знакомых, его знает сам губернатор Бегичев (автор «Семейства Холмских»); «мещанин» Кольцов становится одною из «примечательностей» города.

Издание этой книжки и последовавшие вскоре за этим поездки Кольцова в столицы знаменуют самое интересное время в его жизни, и с этого же периода начинается перелом в ней… Маленькая книжечка в 40 страниц дала возможность прасолу

Кольцову очутиться в обществе «славной стаи» писателей, подружиться с Белинским и познакомиться с самим «богом поэзии» – Пушкиным. На рассказе об этом времени, представляющем кульминационный пункт жизни и творчества поэта, с которого уже начинается быстрый закат его счастья, мы теперь и остановимся.

Глава IV. Среди литературных светил

Поездка в столицы в 1836 году. – Кружки Станкевича и Герцена. – Белинский и его «жажда истины». – Кольцов среди знаменитостей. – «Абсолют» и «субстанция». – Дружба с Белинским. – Многочисленные знакомства. – Отзыв «знаменитости» о Кольцове. – Такт, проницательность и ум Кольцова. – «Царство философии» у Бакуниных. – Петербург. – Знакомство с Краевским. – Субботы Жуковского. – Тургенев и вечер у Плетнева. – Кольцов и Пушкин. – Пирушки у Кольцова. – Возвращение в Воронеж. – Собирание пословиц и песен. – «Ромео и Джульетта». – Либеральные идеи Кольцова. – Отношения его с окружающими. – Размолвка с приятелями. – Время наибольшей славы прасола в Воронеже. – Приезд Жуковского. – Дружба с сестрою. – Хлопоты о втором издании стихотворений. – Расширение круга знакомств. – Третья поездка в столицы в 1838 году. – Помощь титулованных знакомых. – Щегольство Кольцова. – Недовольство вечерами. – Рассказ Каткова о Кольцове. – Очарованность столицами. – Опять Воронеж

Кольцов отправился в Москву и Петербург по делам отца в начале 1836 года. Несомненно, однако, что к этим поездкам побуждали его не одни торговые дела, но и желание завязать литературные знакомства. Много пришлось скромному, застенчивому прасолу увидеть и услышать интересного, много он узнал знаменитых людей и много увез из столиц новых идей, отразившихся на его творчестве и на отношениях с окружающими.

Тяжелое время переживало тогда наше общество. Крепостное право и связанная с ним общественная организация не давали простора для практической деятельности лучших людей на пользу меньших братьев. Единственная сфера, где бы можно было приложить свои силы, высказать накопившиеся мысли и облегчить наболевшее чувство, – литература – находилась в тяжелых условиях. Но живую мысль все-таки нельзя было убить, и она иногда просачивалась в литературе благодаря оплошности цензора (как, например, в известном случае с «Философическим письмом» Чаадаева) или проскальзывала в обществе при помощи Эзопова языка, вероятно, нигде не пользовавшегося такими

давними правами гражданства, как в русской печати. Но чем менее ясно приходилось излагать известные мысли в литературе, тем настойчивее они высказывались в дружеских кружках, куда цензура не проникала. И, может быть, вследствие того, что сфера приложения общественных стремлений к жизни была сужена тогдашними условиями деятельности, большинство этих кружков уходило в отвлеченности философии, в ее абстракты, дабы не иметь дела с печальной действительностью.

И в Москве были эти кружки, из которых самыми видными являлись кружок Станкевича и кружок Герцена. Первый, в составе которого встречаем несколько знаменитых имен: Грановский, Аксаков, Белинский, Бакунин, Кудрявцев, Киреевский, Катков и др., – имел наклонность к философии и вскоре погрузился в невылазные дебри гегельянщины; второй больше тяготел к общественным вопросам. Из первого кружка впоследствии выделились Киреевский и Аксаковы-славянофилы. Между двумя вышеназванными кружками отношения были не совсем дружелюбны: философы называли общественников «фрондерами», «французишками», а последние величали первых «немцами» и зарывшимися в книжные мудрствования мумиями.

Нас в данном случае интересует больше кружок Станкевича, в который глава его вносил свое образование и организаторские способности; горячее, прочувствованное убеждение – Белинский; тонкую диалектику и сильный логический ум – Бакунин; вдумчивость и душевную чистоту – Аксаков. Кружок следил за иностранной литературой, особенно философской, и был au courant[5] в этой области. Там кипели горячие споры, авторитеты стремительно низвергались с пьедесталов, хотя это не мешало воздвигаться на них сейчас же новым кумирам… «Грязная действительность» третировалась во имя светлых идеалов философии самым беспощадным образом… Вскоре в кружке установилась гегемония Гегеля, и самым горячим адептом этого философа был довольно долгое время Белинский, представлявший, в сущности, по натуре своей, по горячим стремлениям сердца, откликавшегося на скорби и муку окружающего, прямую противоположность умственному холоду, который царил на этих высотах философской эквилибристики. Белинский, как известно, был самым страстным и упорным искателем истины; он и на этих собраниях кружка успокаивался только тогда, когда спорный вопрос уяснялся окончательно. До чего эта жажда истины томила горячего критика, видно хотя бы из спора его с Тургеневым, о котором последний рассказывает в своих воспоминаниях. Тургенев ослабел уже в доводах, спор ему надоел, и он с удовольствием согласился на приглашение жены

Белинского идти обедать. Тогда критик серьезно бросил ему упрек: «Мы не решили еще вопроса о существовании Бога, а вы, Тургенев, зовете меня есть!»

И вот в этот-то кружок, где гремели страшные слова «абсолют», «субстанция», «воплощение духа в природе», «субъект» и «объект», где Бакуниным разбирались по косточкам все тонкости гегелевской диалектики, попал «дитя степи» Кольцов, человек без образования, с узким еще в ту пору умственным кругозором… Эта обстановка его ошеломила, и никогда, вероятно, более чем в это время не жалел о недостатке своих сведений бедный прасол, и никогда его сильнее не мучило сознание того, что он ничего не понимает в «мудреных» вещах… Понимание их, конечно, не далось поэту и впоследствии, как это видно из простодушного признания его, которое находим в позднейшем письме к Белинскому: «Субъект и объект я немножко понимаю, – пишет Кольцов критику, – а абсолюта – ни крошечки, но если и понимаю, то весьма худо».

Но люди, занимавшиеся такими мудреными отвлеченностями, отнеслись, однако, очень сердечно к мещанину-поэту: он остановился прямо у Станкевича и сердечно сблизился с Белинским. История отношений нашего знаменитого критика с воронежским гостем вплетает только новый лавр в венок Белинского как человека. Этот писатель, жестокая гроза всяческих литературных авторитетов, разрушитель отживающих преданий и традиций, был глубоко любящим другом. И прекрасные строфы Некрасова рисуют нам верный образ автора «Литературных мечтаний»:

> Наивная и страстная душа,
> В ком помыслы прекрасные кипели,
> Упорствуя, волнуясь и спеша…

Белинский принял под свое покровительство застенчивого Кольцова, и они до конца жизни сохранили привязанность друг к другу. Дружба Белинского не носила характера обидного покровительства скромному приятелю, а основывалась на совершенном равноправии. Если в этих отношениях и сказывалось порою неравенство, то оно обусловливалось самою природою вещей, то есть талантом, начитанностью и большим образованием Белинского, что, конечно, должно было импонировать Кольцову, и, разумеется, критик не мог не иметь большого влияния на друга. Но в сердечности и простоте этих отношений нельзя сомневаться. Светлая личность, Белинский умел коснуться самых глубоких душевных струн прасола, и в

беседах с другом Кольцов разворачивал все силы своей богатой натуры, заставляя знаменитого критика восторгаться своими могучими задатками. И мы снова повторяем, что уважение и даже удивление, которое возбуждал в Белинском Кольцов, служат доказательством недюжинности последнего: не такой был человек правдивый Виссарион, чтоб расточать так долго свою любовь и восторги зря, по ветру.

Видимо, это первое знакомство с кружком Станкевича произвело сильное впечатление на прасола, что заметно по всем его тогдашним письмам. Философия кружка отразилась на содержании дум Кольцова – произведений, преимущественно написанных вслед за этой поездкой в столицы. Своим стихотворением «Поминки», посвященным памяти Станкевича, поэт поставил прекрасный памятник обласкавшим его друзьям:

Могучая сила
В душе их кипит,
На бледных ланитах
Румянец горит…

Чтоб покончить с вопросом о том, как относился к Кольцову критик, мы приведем небольшие выдержки из писем последнего к Боткину, относящихся к более позднему времени. «Кольцова расцелуй, – пишет Белинский, – и скажи ему, что жду не дождусь его приезда, словно светлого дня… Скажи, чтоб прямо ко мне ехал, нигде не останавливаясь, если не хочет меня обидеть». И затем, по приезде поэта к критику: «Кольцов живет у меня, мои отношения к нему легки, я ожил от его присутствия… Экая *благодатная и благородная* натура!» После отъезда прасола: «Когда приехал Кольцов, я всех позабыл; я точно очутился в обществе нескольких чудных людей… И вот я опять один, и пуста та комната, где еще недавно так мой милый А.В. с утра до вечера упивался чаем и меня поил!»

Белинский был почти ровесником Кольцова. В это время (1836 год) он слыл уже известностью: его статья в «Молве» – «Литературные мечтания» – наделала шуму. Белинский работал в обоих изданиях Надеждина: «Молве» и «Телескопе»; в последнем была помещена (в 1835 году) сочувственная статья о многообещающем дебюте поэта-прасола – об изданной Станкевичем книжечке стихотворений Кольцова.

Но не в одном кружке Станкевича Кольцов встретил радушный прием: известно, что он был хорошо принят Ф. Глинкою, Шевыревым и многими другими. Глинка с женою вскоре посетил прасола и в Воронеже, о чем Кольцов сообщал с

восторгом в письме к Краевскому.

Было, впрочем, и другое отношение к поэту, о котором рассказывает Белинский. Прасолу, конечно, лестно было общение со знаменитостями, но нельзя сказать, чтобы он сильно дорожил им в ущерб своему человеческому достоинству. Он был робок и скромен и не любил выставляться напоказ. Хотя он и разъезжал с друзьями «по знаменитостям», но чувствовал себя неловко, когда его представляли им в качестве «редкости» и таланта. Кольцов был очень проницателен и тактичен: он ясно видел, что одни смотрели на него как на диковинку, как смотрят на какие-нибудь заморские редкости; что другие, снисходя до скромного прасола, в сущности, желали только выказать свое «просвещенное внимание» и не отстать от других. Некоторые смотрели на поэта с плохо скрываемым чувством собственного превосходства и пренебрежения, а иные просто поворачивались спиною. Один знаменитый московский литератор (кажется Надеждин), встретившись с Белинским, сказал ему: «Что вы нашли в этих стишонках, какой тут талант? Да это просто ваша мистификация, вы просто сами сочинили эту книжку ради шутки!» Другие не находили ничего поэтического в манерах, одежде и привычках скромного прасола. В ту пору, когда многие захлебывались от восторга, читая трескучие романы Марлинского, когда находили величайшую прелесть в таких выражениях Бенедиктова, как «мох забвения на развалинах любви», «любовь, гнездящаяся в ущельях сердец», – «знатоков» поэзии простые, задушевные и ясные, как весенняя природа, песни Кольцова не могли удовлетворять. Для таких лиц необходимыми атрибутами поэта являются обязательно —

Всегда восторженная речь
И кудри черные до плеч…

И, понятно, им не мог нравиться подстриженный в скобку, в длиннополой чуйке прасол, слишком походивший по виду на обыкновенного, вульгарного человека. Но если бы эти господа знали, как этот простоватый человек, скромно сидя в уголке на их блестящих собраниях, смотря исподлобья и тихонько покашливая в руку, – как этот прасол отлично видел их собственные недостатки! Как он умел, несмотря на свою необразованность, проницательно угадывать под звоном фраз умственное убожество! Удивились бы сильно они, если бы услышали, с какою иронией говорил и писал о них поэт и как он мастерски очерчивал их спесь и хвастовство… Панаев, которому Кольцов передавал в откровенную минуту свои впечатления о петербургских

подобного же сорта литераторах, был изумлен: сколько в этих характеристиках блестело ума, тонкости и наблюдательности…

– Эти господа, – сказал поэт в заключение, с лукавою улыбкою, Панаеву, – несмотря на их внимательность и ласки ко мне, смотрят на меня как на совершенного невежду, ничего не смыслящего, и презабавно хвастают передо мною своими знаниями, пускают пыль в глаза… Я слушаю их, разиня рот, и они остаются очень довольны, между тем я их вижу насквозь… Они на меня совсем как на дурачка смотрят… Вот хоть бы Евгений Павлович Гребенка, – неужели ж я глупее его?

Так «серенький мужичок» Кольцов в разговорах и письмах воздавал должное некоторым своим знакомым. Письма Кольцова, если не принимать во внимание их орфографии, замечательны: в них много ума, наблюдательности; мысль в большинстве случаев выражается ясно и мощно, и читаются они с истинным удовольствием.

Нужно сказать, что кроме знакомых, о которых мы писали выше, Кольцов был в хороших отношениях с Константином Аксаковым и Боткиным. У Аксаковых, среди большого и разнообразного общества, среди дам, интересовавшихся «поэтом-мужичком» и шпиговавших его со всех сторон, неуклюжий и несветский прасол чувствовал себя очень неловко. Еще, пожалуй, неудобнее было его положение у Бакуниных, когда он бывал у них в деревне, в Тверской губернии. Тут было всецело царство философии, область вполне незнакомая поэту; здесь даже женщины, молодые девушки и чуть не младенцы бойко говорили об «абсолютах», «вещи в себе» и «субстанциях», к которым поэт относился с нескрываемой робостью. Был знаком Кольцов и с Чаадаевым, автором знаменитого «Философического письма», из-за которого в 1836 году прихлопнули «Телескоп», оставив Белинского без заработка.

Из Москвы Кольцов поехал в Петербург с рекомендательными письмами и познакомился там вскоре по приезде с Яковом Михайловичем Неверовым, на вечерах у которого бывали Краевский, Панаев, Плетнев и другие. С Краевским, после знакомства у Неверова, Кольцов переписывался до самой смерти, и много писем поэта-прасола хранилось у покойного «Мафусаила» русской журналистики. В отношениях Краевского и Кольцова нет, по нашему мнению, ничего похожего на то «литературное кулачество», о котором постоянно заходит речь при имени покойного журналиста. Краевский всегда в необходимые моменты приходил на помощь Кольцову, – дал денег на выезд из Петербурга в одну из поездок и вообще оказал ему немало бескорыстных услуг.

Он же ввел Кольцова в кружок Пушкина и Жуковского. Последний жил тогда в Зимнем дворце, и у него по субботам собирались корифеи русской литературы, а также и «сиятельные» писатели: князья Вяземский, Одоевский и др.; бывали и некоторые из молодых литераторов. В одну из этих суббот, когда, между прочим, у хозяина были князья Вяземский и Одоевский, Краевский привел Кольцова и представил его Жуковскому и гостям. Пушкина не было в это время, но, узнав о приезде Кольцова, он через других просил его к себе. Упомянем здесь, что в память о субботах Жуковского написана каким-то художником картина, на которой между прочими изображен и наш прасол. Но где находится в настоящее время эта картина – неизвестно.

Итак, наш «степнячок» очутился среди «литературных светил», попал даже в Зимний дворец, был обласкан Жуковским и другими знаменитостями. Все эти знакомства очень помогли поэту впоследствии, когда судьба заставила его быть «ходатаем» по делам отца и заводить бесконечные тяжбы.

Как бы ни был хорош и прост человек, но ему трудно избавиться от искушений тщеславия. А приехать в Воронеж и сказать, что «у меня был Жуковский» или что «я приглашен к Пушкину», – было великим соблазном для прасола, даже если забыть о том интересе, который возбуждали в нем эти личности сами по себе. Понятно, эти знакомства были очень лестны Кольцову, и он старался встречаться с «известностями». К чести его нужно, однако, сказать, что он не только завязал эти знакомства, но закрепил их и сумел поддержать интерес к себе со стороны встреченных «светил» до конца, что тоже может служить меркою даровитости и богатства душевных сил поэта-прасола.

В воспоминаниях Тургенева есть интересный рассказ о литературном вечере у Плетнева, на котором был и Пушкин. Автор «Отцов и детей» встретил там между прочими человека, одетого в длинный двубортный сюртук, короткий жилет с голубою бисерной часовою цепочкой и шейный платок с бантом. Этот человек сидел в уголке, скромно подобрав ноги, и изредка покашливал, торопливо поднимая руку к губам. Он поглядывал кругом не без застенчивости и внимательно прислушивался; в глазах его светился необыкновенный ум, но лицо было самое простое, русское. Это был Кольцов. Хозяин и гости просили его прочитать последнюю думу, но он сконфузился, и Плетнев не настаивал. Когда Тургенев, подвозя Кольцова к дому, спросил, отчего он не прочитал стихов, то поэт ответил почти с досадою:

– Что же это я стал бы читать-с? Тут Александр Сергеич только что вышли, а я бы читать стал! Помилуйте-с!

Кольцов впервые свиделся со своим божеством, Пушкиным,

на квартире последнего, куда он пошел по приглашению хозяина. С особенным чувством вспоминал всегда поэт о теплом и ласковом приеме, оказанном ему солнцем русской поэзии, которое он со священным трепетом собирался встретить. Со слезами на глазах рассказывал он Белинскому об этой торжественной в своей жизни минуте – встрече с Пушкиным. Подробностей о помянутом свидании не нашлось в бумагах Кольцова (у него, по всем данным, не имелось ни дневника, ни записок), но рассказ прасола в отрывочных чертах сохранился в памяти некоторых современников.

Кольцов пришел на квартиру Пушкина почти за год до смерти последнего и объявил имя; Пушкин схватил его за руки и сказал:

– Здравствуй, любезный друг! Я давно желал видеть тебя!

Кольцов пробыл долго, приходил и еще несколько раз, но никому не передавал, о чем беседовал с Пушкиным.

Бывая у литераторов, Кольцов созывал их и к себе в каждый приезд в столицы и угощал, по словам Панаева, какою-то необыкновенною соленою рыбой (вероятно балыком), привезенною из Воронежа. На этих маленьких пирушках Кольцов потчевал своих гостей по радушным обычаям родины, обходил с подносом пирующих, приглашал пить и сильно приставал не отказываться. Нередко говорились на этих вечеринках спичи; известно, например, что на одной из них Кольцов предложил тост за Станкевича.

Кольцов очень интересовался мнением Пушкина о своих стихах. Автор «Каменного гостя» взял одну из тетрадок у прасола, и во второй книжке «Современника» за 1836 год была помещена пьеса Кольцова «Урожай»; затем больше ничего не было… По рассказу Краевского, Пушкин говорил, что не все стихи Кольцова можно печатать; он находил у прасола большой талант, широкий кругозор, но бедность образования, отчего эта «ширь» часто рассыпается фразами. Лермонтову, по словам того же Краевского, очень нравились многие стихотворения Кольцова. Из переписки поэта-прасола видно, что его очень беспокоило мнение Пушкина о его таланте, но этому беспокойству не суждено было продолжаться долго. Через несколько месяцев после отъезда Кольцова из Петербурга гиганта русской поэзии не стало… И обласканный им Кольцов одним из первых со жгучею скорбью отозвался на эту потерю родины. «Слепая судьба, – писал он Краевскому в восторженно-печальном письме, – разве у нас мало мертвецов, разве, кроме Пушкина, тебе нельзя было кому другому смертный гостинец передать? Мерзавцев много, – за что ж ты их любишь, к чему бережешь? Злая судьба!» Поэт-прасол посвятил

памяти Пушкина великолепное стихотворение «Лес».

В Воронеж Кольцов вернулся из поездки, окруженный ореолом. Со времени отъезда его из родного города в лучших журналах было напечатано несколько его стихотворений; также стало известно, что он познакомился с Пушкиным, Жуковским и другими и был обласкан этими корифеями русской литературы. Все это возбудило к нему необычайный интерес на родине, и с этого начался период самой большой его местной славы… Он привез с собою целую библиотеку, так как каждый из новых знакомых-литераторов дарил ему свои произведения. Но что же существенного в духовном смысле дала ему эта поездка?

Хотя Кольцов и не понимал «абсолюта», но, тем не менее, усвоил многие из мыслей своих друзей. И, прежде всего, это отразилось, как мы уже говорили выше, на его думах. Эти произведения, может быть и уступающие по достоинствам песням, содержат не только вопросы, затрагивающие величайшие проблемы и тайны жизни и духа, но и попытки решения этих вопросов, на что, конечно, не могло хватить сил у поэта… Кроме того, прасол привез в груди своей в Воронеж целый мир светлых грез об иных людях, об иных, высших, целях, которые эти люди, казалось ему, преследовали в своей деятельности. Он привез теплые воспоминания о симпатичных личностях кружка Станкевича и, главное, о незабвенном Белинском. Несомненно, что эти радужные воспоминания в первое время значительно согрели для поэта воронежскую «прозу», которая сменила столичную жизнь… Затем, мы видим, что в поэзии Кольцова с этого времени начинают решительно преобладать народные мотивы. Отдав дань «мудрствованиям» в своих думах, Кольцов погружается целиком в ясное море народных звуков. Муза гостиных, с альбомными стишками, сентиментальными оборотами и фальшивыми звуками, им почти брошена. В это же время он собирает народные пословицы и песни, в чем видно влияние опять-таки его новых знакомых и друзей. Сохранилась тетрадка собранных Кольцовым пословиц, но сборник песен погиб вместе с другими бумагами поэта. Под влиянием долгого пребывания в столицах и последовавшей затем переписки с Белинским, Краевским и другими в поэте поддерживался больший интерес к литературе и его вкус изощрялся. Интересно, что еще до того, как Лермонтов был замечен патентованными критиками, Кольцов благодаря своему чутью горячо увлекался стихами гениального поэта. Тем не менее, прасол возмущался ухарством автора «Демона»: раскуриванием трубок посредством ассигнаций и кутежами, которые устраивал Лермонтов в один из своих проездов через Воронеж.

Но после того как Кольцов побывал в столицах, после того как он познакомился со столькими талантливыми и блестящими людьми, заставившими его живо почувствовать скудость его образования, на него стали часто находить моменты недоверия к своим силам и таланту, о чем он не раз и высказывался в письмах к друзьям и в словесной беседе с ними. Так, читая однажды в саду любовную сцену из «Ромео и Джульетты» Шекспира, растроганный и трепещущий от восторга прасол сказал:

– Вот был истинный поэт! А я что, какой мой талант? Ледащий![6]

Здесь же мы должны указать на несомненный художественный темперамент Кольцова: читая поэтов, он приходил в восторженное состояние; его, как и других, подавлял всемогущий гений Шекспира, с произведениями которого он был уже давно знаком; музыка приводила его порою в лихорадку.

Побывав в кружке «ученых» людей и увидев, что кроме изящной словесности есть еще безграничный мир интересных знаний, Кольцов, как мы сказали, больше чем когда-нибудь начинает чувствовать скудость своего образования и страстное желание пополнить его, о чем впоследствии не раз пишет Белинскому. «Будь человек и гениальный, – говорит он в одном из писем к критику, – а не умей грамоте – не прочтешь и вздорной сказки. На всякое дело надо иметь полные способы. Прежде я-таки, грешный человек, думал о себе и то и то, а теперь кровь как угомонилась, так и осталось одно желание в душе – учиться…» И под влиянием этого желания чтение Кольцова становится значительно разнообразнее и серьезнее: он читает уже не одни стихи и романы, но и книги по истории, философии и политике.

Немало и либеральных идей, касающихся любви, отношения к жизни, к людям, привез Кольцов от своих друзей. Эти идеи, конечно, пришлись не по плечу Воронежу и должны были возмущать смиренных обывателей губернского захолустья. Так, например, в письме к своей довольно близкой родственнице («сестрице»), к которой он питал давно уже страстные чувства, поэт говорит: «Что за обязанность сохранять до гроба вынужденную предалтарную клятву, – ничтожному рабу быть послушной рабыней? Хранить к нему верность, любить его против желания? И странно, и смешно!»

Побывав среди литературных светил и немножко, может быть, возгордившись своим успехом у них, поэт в конце концов стал относиться иначе и к своим обязанностям, и к семье, и к знакомым… Начинался разлад в отношениях его с окружающей жизнью. Этого и надо было ждать. Зародыши указанного разлада давно зрели в душе поэта, и теперь, после поездки в Петербург и

Москву, промелькнувшей перед ним видением из какой-то другой жизни, взаимоотношения с воронежскими обывателями должны были обостриться. После резкого, сильного света тьма кажется еще темнее и ужаснее. Так было и с Кольцовым: слишком еще много тьмы заключал в себе воронежский быт… Напрасно некоторые биографы Кольцова (например, Де-Пуле) взваливают вину за этот разлад на Белинского. По их мнению, вся беда в том, что критик настраивал Кольцова против окружающих его людей, постоянно раздувая в нем искру недовольства действительностью в целый пожар, между тем как крайние идеи Белинского были неприменимы к окружавшей поэта обстановке. Но Белинский был слишком искренний, хотя и увлекающийся человек, чтоб можно было представить его в роли проповедника оппортунизма: если он видел зло, то направлял на борьбу с ним все силы своей честной души… И было бы просто смешно вообразить кипучего, возвышенного Виссариона в роли примирителя поэта с кулачеством и торгашеством. Рано или поздно разлад должен был обнаружиться: поэзия и кулачество не могут оставаться вечно друзьями… Биографы, оспаривающие благотворность влияния на Кольцова со стороны Белинского, желают, кажется, доказать, что если бы поэт оставался прасолом, если бы критик не будировал его, то поэзия и жизнь Кольцова были бы более цельными… Это такое странное мнение, с которым не стоит и спорить. Мы, напротив, глубоко убеждены, что только движение мысли и чувства, только грезы и идеалы, возбужденные Белинским и его друзьями в поэте, – только эта умственная работа и осветила жизнь Кольцова как сознательную дорогу и сообщила его поэзии истинно прекрасный характер. Впрочем, «раздвоение» Кольцова выразилось резче несколько позднее, пока же оно проявлялось в смутной форме и часто еще уступало место той «жизнерадостности», о которой мы говорили выше.

Время с 1835 по 1838 год было временем самой большой известности Кольцова в Воронеже: все его знали и наперерыв приглашали к себе. А в 1837 году случилось событие, которое заставило и «кремня» – старика Кольцова – смотреть на «баловство» сына серьезно и даже основать на этом «баловстве» тонкие расчеты и ожидания, в значительной степени осуществившиеся. В июле 1837 года в Воронеже был проездом наследник, которого между другими сопровождал и Жуковский.

Семейство Кольцовых мирно заседало за трапезой, когда вдруг неожиданно явился от губернатора жандарм за поэтом. Тот, испуганный, отправляется к начальнику губернии, и его там ласково встречает сам Василий Андреевич Жуковский. Знаменитый поэт и приближенное к наследнику лицо, Жуковский

все свободное время в Воронеже проводил с Кольцовым: был у него в доме, познакомился с семьей и пил там чай… Весь город был свидетелем того, как прасол Кольцов гулял и ездил со знаменитым поэтом и вельможею. Это, конечно, еще больше подняло фонды Кольцова в городе. Мало того, Жуковский, посетив гимназию и собрав учителей, много и красноречиво говорил им о большом таланте Кольцова и приглашал их знакомиться с поэтом. Обо всем этом Кольцов с восторгом рассказывает в письмах к Краевскому. Впоследствии отец Кольцова и родные, сообщая о посещении их дома «вельможею», обставляли это свидание совершенно невероятными и легендарными подробностями…

К этому же времени следует отнести установление дружеских отношений поэта с его младшей сестрой, Анисьей, единственной не вышедшей еще замуж и жившей в доме старика отца. Кольцов имел большое влияние на развитие сестры. Очевидно, талантливость была врожденным качеством всех Кольцовых: сестра прасола обладала несомненными поэтическими дарованиями. Тонкая ценительница стихов, она прекрасно читала Пушкина. Самоучкою Анисья выучилась по-французски и на фортепиано, на котором, вероятно, играла у сестры своей, Башкирцевой, так как сомнительно, чтобы старик Кольцов, человек «старого завета», позволил держать фортепиано у себя. Присутствие рядом, у себя же дома, друга, способного ценить поэзию, было очень важно для Кольцова. Мы знаем, что они с сестрою часто вели горячие споры, поэт постоянно читал ей свои стихи и спрашивал:

– Как по-твоему, Анисочка?

– А вот так-то, Алешенька.

И Кольцов часто следовал замечаниям сестры, поправляя свои стихотворения. Из писем поэта к Краевскому мы видим, что в это же время первый усиленно хлопотал о новом издании своих произведений, дополненном напечатанными в разных журналах и вновь написанными стихами. Поэт не смотрел на это дело как на средство для наживы и заранее рассчитывал на убыток. «За свои стихи, – пишет он в 1837 году Краевскому, – денег не брал и буду ли брать когда-нибудь? Цена им дешевая, а награда великая. Вы, слава Богу, не побрезгали мною, приняли в число своих знакомых, обласкали, помогли, познакомили с людьми, которых я не стою и не буду стоить никогда. Чего ж мне больше?»

Но поэту не суждено было дожить до этого второго издания, хотя мысль о нем долго не покидала его.

Горячая рекомендация Жуковского не осталась без последствий, и, как мы уже говорили, поэт бывал, когда ему

позволяли обширные к тому времени, хотя уже и начинавшие расстраиваться дела отца, во многих домах. Условия кружков, где он вращался, изменились в это время к лучшему. Директор гимназии Савостьянов был литературно образованным человеком; он хорошо относился к Кольцову и пропагандировал его творчество в высших слоях воронежского общества. Квартира учителя гимназии Добровольского была центром, где обыкновенно собиралась интеллигенция. Но порою набегали и тучки… Начинавшийся в душе поэта разлад давал себя чувствовать. Для Кольцова наступал уже зрелый возраст; юношеский пыл, когда все «перемалывалось» и становилось «мукою», проходил, и ему приходилось поневоле задумываться над своим положением. Поэт рвался душою в светлый мир грез, а судьбою был брошен в болотную трясину, и часто тяжелые чувства волновали широкую грудь прасола. Как ему выйти из своего положения? Как устроиться, чтоб душа не возмущалась этими печальными явлениями мелкого торгашества? И он часто останавливается на мысли об установлении крупных торговых сношений прямо со столицами; он лихорадочно принимается за постройку большого дома на Дворянской улице, думая впоследствии устроить в нем книжный магазин и проводить время среди столь любимых им книг.

Крутой норов и самодурство отца причиняли немало огорчений Кольцову и ставили его в неловкое и ложное положение по отношению к новым интеллигентным знакомым. Раз, например, несколько друзей Кольцова вместе нагрянули к нему. Он их принял в большой комнате и усадил в передний угол, под образами. Вооружились трубками и начали беседу. Вдруг пришел отец. «Мой батенька», – сказал поэт, обращаясь к гостям. Отец, громко проговорив: «Вот с рожнами забрались под иконы», ушел в следующую комнату. Это, конечно, заставило поэта сконфузиться и извиниться за «батеньку». Такие сцены, вероятно нередко повторявшиеся, отбивали у приятелей охоту посещать Кольцова.

Страстно рвался Кольцов опять в столицы, где его так обласкали в прежнюю поездку, и снова уехал туда в конце 1837 года «по делам», но гораздо больше времени посвятил литературе, чем деловым отношениям. И опять он был многими обласкан и принят как давнишний знакомый. Однако эта поездка имела и некоторые особенности. Кольцов проявил тут себя в новом свете, и мы считаем необходимым остановиться на упоминаемом путешествии.

Белинский, просидевший почти без заработка года полтора, с марта 1838 года стал редактором «Московского наблюдателя»;

как известно, и этот журнал вскоре перестал издаваться, и критик, очутившийся в бедственном положении, задумал переехать в Петербург. Станкевича и других приятелей не было в Москве, кружок их уже распадался. Все эти обстоятельства волей-неволей заставляли Белинского думать о своем положении. Кольцов, заехавший ненадолго в Москву и спешивший в Петербург, с энергией и умением хлопотал за своего друга у Полевого и Краевского. Он так горячо расхваливал Москву, московский кружок и Белинского Панаеву, что отчасти его рассказы были причиною спешной поездки последнего в Москву.

Кольцов опять очутился в кружке петербургских известностей, но в эту поездку сметливый прасол, вероятно вследствие усиленного воздействия отца, интересуясь литературой, проводил и другую линию… Он хотел воспользоваться своими знакомствами с людьми высшего круга в чисто практических целях. К этому времени Кольцовы вели несколько тяжб на довольно крупные суммы. Известно, что представляли собою тогдашние суды: в них без взятки или всемогущей протекции самое правое дело могло оказаться беззаконным и пролежать под сукном веки-вечные. В этих тяжбах Кольцову могли оказать существенную поддержку Жуковский, князья Вяземский и Одоевский, – и поэт знал это. Еще в 1836 году он писал про дела свои князю Вяземскому и просил заступничества. «Если что дурно написано, – заканчивал скромно прасол свое послание, – простите, Ваше Сиятельство: впервой сроду пишу к князю».

Теперь же, при личном свидании, Кольцов, конечно, сумел представить свои дела в таком виде, что титулованные покровители не могли отказать в содействии и снабдили его многими письмами, оказавшими огромную пользу. Вероятно для того, чтоб не ударить лицом в грязь в блистательных салонах князей, Кольцов, и прежде любивший щегольнуть, теперь чрезвычайно внимательно относился к своему наряду, выводя из себя Белинского своим мещанским франтовством. Может быть, и это, бившее на эффект, но совершенно неизящное щегольство Кольцова было одною из причин пренебрежительного отношения к прасолу со стороны петербургских литераторов-денди. Сутуловатый, неуклюжий Кольцов причесывал свои густые русые волосы щеголеватым прибором и жирно их помадил. На манишке его сверкали пуговицы с камешками, поверх жилета красовалась цепь от часов. Он был даже раздушен, за что ему жестоко доставалось от Белинского.

– Охота вам, Алексей Васильевич, прыскаться и душиться какою-то гадостью, – говорил критик, – от вас каким-то

бергамотом[7] или гвоздикою пахнет… Это нехорошо… Если мне не верите, спросите у него! – и Белинский указывал на Панаева. – Он – франт, он уж, батюшка, авторитет в этом деле!

К своим прежним знакомствам Кольцов прибавил массу новых: он знал почти всех заслуживавших внимания литераторов и художников. С другой стороны, мы видим, что даже у многих представителей beau-mond'a под влиянием, вероятно, рассказов Жуковского, князей Вяземского и Одоевского появлялся интерес к поэту-прасолу: например, напутствуемый письмами вышеупомянутых лиц, он был принят у графа и графини Ростопчиных, у княгини Щербатовой и т. п.

Но, бывая на собраниях литераторов, скромный когда-то прасол, набравшийся уже теперь смелости, пытался иногда вступать в разговоры и на своем странном и грубоватом языке порой высказывал мысли верные и глубокие. Это возмущало многих из петербургских литераторов, недоумевавших, как этот parvenu,[8] удостоенный чести слушать их высокопарные и звонкие, но пустые фразы, позволял себе делать простые, но меткие и верные замечания. Кольцов не любил петербургских литераторов; он видел их фальшивое отношение к себе, и это его печалило. Письма к Белинскому (позднего периода) наполнены его жалобами по этому поводу. Но, понятно, были и тут исключения: он очень сердечно отзывался о Плетневе и Панаеве. Все-таки петербургским друзьям поэта-прасола, по его мнению, было далеко, как от земли до неба, до московских приятелей, к которым лежало его сердце.

Три месяца пробыл Кольцов в Петербурге. За это время он раза два или три сзывал к себе знакомых и угощал их своею знаменитою рыбой. Кроме рыбы на этих вечерах вряд ли было что-нибудь, что бы объединяло скромного, «неотполированного» прасола и «полированных» петербуржцев, умевших поддерживать тонкий и остроумный разговор. Так что Кольцову в основном приходилось молчать и обходить с подносом гостей. Не мог же он, при своей скрытности, выносить к этим людям, из которых многих недолюбливал, как на базар, свои лучшие чувства и верования, – а гости уходили от поэта совсем разочарованными… Со своими разнокалиберными посетителями он вел себя уклончиво, был «себе на уме». «О душевной жизни вечеров моих и прочих не знаю, что вам сказать, – писал Кольцов Белинскому, – кажется, они довольно для души холодны и для ума мелки… серьезный разговор о пустоши людей, серьезных не по призванию, а по роли, ими разыгрываемой…»

Зато опять вольно вздохнул Кольцов в Москве, где он, возвратившись из Петербурга, прожил несколько месяцев. В

кружке своих московских друзей, со стороны которых поэт видел искреннее чувство, он распахивал душу и высказывал заветные мысли. Здесь застенчивый, скрытный прасол преображался: он горячился, волновался и порою высказывался на своем оригинальном, грубоватом языке в таких выражениях, которые бы не годились для печати. Что в такие моменты прасол был интересен и что беседа с ним доставляла удовольствие, единогласно подтверждают Белинский, Панаев, Краевский и Катков. А это все такие люди, которые видели свет, их трудно обвинить в преувеличении, вызванном дружеским чувством к памяти покойного поэта.

Интересно, что Кольцов был в близких, приятельских отношениях с Катковым, тогда еще студентом Московского университета. Московский публицист напечатал в «Русском вестнике» (в 1856 году) задушевные воспоминания о поэте-прасоле. Кольцов был очень откровенен со знаменитым впоследствии газетчиком. Катков присутствовал при рождении многих стихов прасола. По воспоминаниям публициста, Кольцов обыкновенно выглядел озабоченным и пасмурным. Он часто читал стихи и спрашивал мнение о них слушателя. Если пьеса была плоха, он сам это первый чувствовал. «Душа поэта, – по словам Каткова, – отличалась удивительною чуткостью… При всей скудости образования как много он понимал! Безграничная жажда знания и мысли томили его… Никогда не забуду бесед с ним!»

И Катков вспоминает проведенную у Кольцова ночь в Зарядье, в мрачном и грязном подворье. Часы летели, как минуты. Какая поэзия, какие звуки таились в этом «кремне», в этом приземистом, сутуловатом прасоле!

Прекрасное расположение духа, вызванное близостью дорогих людей и обожаемого Белинского, отодвинувшиеся далеко-далеко дрязги мещанской действительности и постоянный живой обмен мыслями с друзьями – все это способствовало тому, что 1838 год стал самым производительным в поэтической деятельности Кольцова: в этом году написаны самые лучшие вещи поэта.

Но как бы хорошо ни было в Москве, следовало все-таки отправляться домой, к быкам, салу и другим столь же интересным вещам. Эта необходимость возвращения должна была, конечно, возбуждать у поэта грустные чувства. Он так долго жил в светлом мире мысли, среди бойцов возвышенной области знания и поэзии, что начинал уже осваиваться с этим миром как со своим кровным… А между тем этот манящий мир битв за добро, за правду оказался для него в конце концов

заколдованным царством, куда ему не суждено было попасть на постоянное житье.

Отголосок этой грусти, этого очарования минувшим и осознание необходимости жить там, где тяжело живется, слышатся в письме Кольцова к Белинскому, написанном по возвращении в Воронеж. «В Воронеже жить мне противу прежнего вдвое хуже, – пишет прасол, – скучно, грустно, бездомно в нем… Дела коммерции без меня расстроились, новых неприятностей куча; что день – то горе, что шаг – то напасть… Благодарю вас, благодарю вместе и ваших друзей… Вы и они много для меня сделали, – о, слишком много, много! Эти последние два месяца стоили для меня пяти лет воронежской жизни…» Затем Кольцов прибавляет, что в его жизни – «материализм дрянной, гадкий и вместе с тем – необходимый… Плавай, голубчик, на всякой воде, где велят дела житейские; ныряй и в тине, когда надобно нырять; гнись в дугу и стой прямо в одно время!»

Так иронизировал поэт-прасол над своим положением… Как тяжела эта «тина» жизни для натур поэтических, сколько она сгубила светлых и многообещающих дарований!

Глава V. Последние годы жизни Кольцова

Страдание – удел всего живущего. – «Уравновешенные» люди. – Обнаружение глубокого разлада в жизни Кольцова. – Тяжебные дела. – Поэт в роли сутяжника. – Титулованные предстатели. – Унизительные сцены с чиновниками. – Просительные письма. – Смерть Серебрянского и горе Кольцова. – Увлечение философией. – Отрывок из дневника Никитенко. – Недовольство воронежцев поэтом. – Басня «Чиж-подражатель». – Размолвки с отцом. – «Кремневые» характеры. – Недовольство окружающей жизнью. – Невозможность порвать с нею. – Предложение Краевского. – Последняя поездка к друзьям. – Окончательное возвращение в Воронеж. – Ссора с сестрою. – «Отравительные восторги» любви. – Болезнь Кольцова. – Последние месяцы жизни. – Приятель-доктор. – Предсмертное свидание с Аскоченским. – Страдания больного. – Смерть. – Памятник поэту-прасолу

Мимолетны радости жизни и продолжительны ее горести!

Радость – резвая гризетка,
Посидит на месте редко:
Раз, другой поцеловала,
Да – гляди – и убежала…

А старуха-горе дружно
Приласкает, приголубит;
Торопиться ей не нужно:
Посидеть с работой любит!

Страдание – удел всего живущего. Если кому выпали радости в молодости, то черствая, тяжелая рука времени сомнет эти цветы, и к старости они завянут под холодным дыханием жизни. И чем выше, чем тоньше организация человека; чем значительнее он опередил век; чем замечательнее его нравственные и умственные качества; чем он выше понятий той среды, в которой суждено ему вращаться; чем, наконец, яснее он понимает всю гадость окружающей обстановки и обычаев, с которыми, как привыкший к ярму вол, смирились люди, – тем тяжелее ему, тем

печальнее его существование… И благо тем «уравновешенным» людям, которые индифферентно относятся к окружающему и души которых едва касаются впечатления жизни, не затрагивая в ней ничего «святого», потому что этого «святого» там нет…

Наступили и для Кольцова тяжелые дни…

Соловьем залетным
Юность пролетела,
Волной в непогоду
Радость прошумела!

Так он говорил про лучшую пору своей жизни… Но теперь:

Догорели огни, облетели цветы,
Непроглядная ночь, как могила, темна!

Глубокий разлад, таившийся в жизни Кольцова, о котором мы уже говорили, обнаруживался все яснее и яснее. Отвыкнув в столицах, среди интересных и прекрасных людей, действовавших в благородной сфере слова, от мелких забот своей несимпатичной торгашеской профессии, Кольцов начинает довольно брезгливо относиться к ней; а между тем дела в руках старика из-за отсутствия сына, по обыкновению, пришли в беспорядок, и последнему следовало бы тем с большею энергией взяться за них… Он сначала и брался, и поправлял, но делал это уже с плохо скрываемым пренебрежением, что вызывало неудовольствие отца и обостряло отношения его с сыном. Были и еще обстоятельства, отвлекавшие Кольцова как от его торговых занятий, так и от литературы, а именно бесконечные тяжбы, которые ему приходилось вести с крестьянами и лицами других сословий… И какое грустное зрелище представлял поэт в роли сутяжника!

Своих земель для корма скота и посевов у Кольцовых не было, и они должны были арендовать степи у крестьян и соседних владельцев, что и порождало, при непокладистости старика Кольцова, бесчисленные тяжбы. Впрочем, некоторые из этих тяжб возбуждал уже и сам сын. Во многих из них дело, как говорится, было «не чисто», и к чести поэта следует сказать, что он ими тяготился.

Расчеты отца Кольцова на «стишки» сына как на средство обделывать делишки оправдались историей многих из этих тяжб. Знакомые поэта «сиятельные» литераторы снабжали его горячими рекомендательными письмами и лично ходатайствовали как

перед местными властями, так и перед столичными, когда дела доходили до Сената и министерств. Многие из рекомендательных писем оказывали желанное действие; но, с одной стороны, покровительство сильных людей приводило к тому, что отец и сын с большею легкостью затевали тяжбы, рассчитывая на могучую протекцию титулованных предстателей, а с другой, – даже эти ходатайства не избавляли поэта от волокиты и часто позорных и тяжелых для его самолюбия сцен.

Всякому известно, какими условиями было обставлено хождение по делам в доброе старое время. Если и теперь еще некоторые из столоначальников воображают себя олимпийскими божествами и наивно полагают, что не они должны служить обществу, а общество создано для них; если вместо того, чтоб облегчать всеми мерами ход громоздкой государственной машины, подобные деятели считают самою главною ролью в этой машине роль тормозов, то про чиновников времени Кольцова и говорить нечего. Сколько унижений приходилось выносить поэту! Чиновники не хотели видеть в нем уже известного народного поэта, песнями которого восторгались Жуковский, князья Одоевский и Вяземский и которому критик Белинский пророчил долговечную славу; для них Кольцов был только «мещанин», обязанный выжидать в передних и выслушивать бесцеремонное «тыканье». Эти обстоятельства добавляли немало горечи в жизнь Кольцова. В письме к кн. Одоевскому поэт рисует, например, такую сцену. Пришел он к управляющему палатою государственных имуществ, Карачинскому, узнать по поводу дела, испытавшего уже всякие мытарства и благополучно разрешившегося во всех инстанциях. Остановка была только за Карачинским.

– Ты зачем? – спросил управляющий поэта.

– По делу.

– Вы плутуете, мошенничаете, шляетесь по всяким местам, а как дело, то и лезете ко мне!

Кольцов объяснил, что вовсе не по «всяким» местам шляется, а был у губернатора, где никому бывать не стыдно.

– Ну и ступай опять к нему! – объявил Карачинский.

Так, ни с чем не раз уходил поэт от управляющего, а дело было важное и крупное. Тогда он обратился к одному знакомому чиновнику, служившему у Карачинского. Тот обещал доложить и сказал прасолу:

– Принеси-ка ему свою книжку: он сам науку любит и знает!

Кольцов отнес книжку. Новое свидание было мягче прежних, но опять вышла запинка.

– Дело придется отослать в департамент! – объявил

Карачинский.

– Помилуйте, да ведь мое дело правое: зачем же тянуть?

– Знаю, что правое, да губернатор мне *щекотливо* написал, пусть нас департамент разберет!

Очень характерная подробность и, может быть, касается не только чиновников того времени. Из-за этой «щекотливости» немало бывает «отписок» и бесплодного бумагомарания.

Много приходилось писать прасолу по поводу тяжебных дел и иногда «коленопреклоненно» благодарить высоких благодетелей. Судебные «закорючки», вызвавшие в 1840 году последнюю поездку Кольцова в столицы, вероятно, немало досаждали знатным покровителям поэта, как это, например, он сам полагает про Жуковского. Надо, однако, правду сказать, письма Кольцова к этим лицам составлены замечательно тактично и умно: в них так переплетаются интересы чисто литературные с предметом просьбы, так прекрасно, хотя и преувеличенно, рассказывается о тяжелых обстоятельствах поэта и его семьи; в них, наконец, сквозит порою так задушевно и сердечно выраженная лесть, что нужно быть очень грубым и жестким человеком, чтобы отказать в просьбах. Но на такое жестокосердие были не способны благодушные корреспонденты мещанина Кольцова, искренно желавшие помочь поэту, которому, как писал он, «хотелось сбросить эту грязь, потому что жить так, как живется теперь, нет уж силы».

Вскоре по приезде Кольцова из третьей (1838 год) поездки в столицы его постигло большое горе. Серебрянский, друг его юности, человек, которого он так любил и которому немало был обязан, давно уже болел чахоткою. Врачи советовали ему уехать из Москвы на родину, – и тут-то поэт оказал действительную услугу своему товарищу, дав ему средства на поездку из столицы и устроив его в слободе Козловке, где жили мать и сестры больного. Но недолго после этого протянул Серебрянский и в конце 1838 года умер.

Хотя у поэта и были размолвки с покойным, но дружба с ним, скрепленная в самую горячую пору жизни, в молодости, имела столько чар, что противостояла всем искушениям, – и прасол искренно оплакивал своего друга. «Серебрянский умер, – пишет Кольцов Белинскому. – Да, я лишился человека, которого столько лет любил душою и которого потерю горько оплакиваю. Много желаний не сбылось, много надежд не исполнилось, – проклятая болезнь! Прекрасный мир прекрасной души, не высказавшись, сокрылся навсегда… Нужда и горе сокрушили тело страдальца… Грустно думать, был некогда, недавно даже, милый человек – и нет его, и не увидишь никогда, и все кругом тебя молчит, и самый

зов свидания мрет безответно в бесчувственной дали!..» Затем в другом письме: «Вместе мы с ним росли, вместе читали Шекспира, думали, спорили… И я так много был ему обязан, он чересчур меня баловал… Вот почему я онемел было совсем и хотел всему сказать: прощай! И если бы не вы, я все бы потерял навсегда!»

Мы уже говорили раньше о том, что Кольцов, съездив к «светилам» и гордый своей поэтической славой, не мог избавиться от тщеславных побуждений играть крупную роль в Воронеже среди интеллигенции. Ему хотелось быть там истолкователем и пропагандистом философских идей Белинского и его кружка; но для этой роли не хватало умения, а главное – знаний и образования. Это было мучительно неприятно для поэта при его самолюбии, тем более что окружающие его люди давали иногда очень резко понять всю неуместность принятой им на себя роли. И действительно, должно казаться смешным желание Кольцова, плохо справлявшегося с «абсолютом» и едва понаслышке знакомого с Гегелем, развивать смутно сознаваемые им идеи этого философа об искусстве, жизни, природе и религии. Но что сам Кольцов, не шутя, воображал себя адептом этой философии и с чужого голоса, кстати и некстати, толковал о ее терминах, плохо их понимая, доказывается его письмами, где, например, попадаются выражения вроде «олицетворение мощной воли до невозможности» (из письма к Жуковскому) и др. Всего же лучше на это указывает отрывок из дневника известного профессора Никитенко, который мы приведем здесь. «У меня был Кольцов, – пишет в 1840 году Никитенко, – некогда добрый, умный, простодушный Кольцов, автор прекрасных по своей простоте и задушевности стихотворений. К несчастию, он сблизился с редактором и главным сотрудником „Отечественных записок“ (Белинским– *Авт.)*. Они его развратили. Бедный Кольцов начал бредить субъектами и объектами и путаться в отвлеченностях гегелевской философии. Он до того зарапортовался у меня, что мне стало больно и грустно за него… Неученый и неопытный, без оружия против школьных мудрствований своих наставников и покровителей, он, пройдя сквозь их руки, утратил свое драгоценнейшее богатство: простое, искреннее чувство и здравый смысл…»

Дошло даже до того, что бывшие у Никитенко знакомые заподозрили Кольцова в нетрезвости, чего, конечно, совсем не было.

Разумеется, не много нужно было проницательности, чтобы раскусить, как понимает Кольцов философию, и находить смешною его новую роль в воронежском обществе, где, как мы

видели, было немало людей образованных и начитанных. Но, повторяем, немногие свободны от искушений тщеславного чувства. И Кольцов был не прочь выставить себя в качестве философа, близкого друга и единомышленника людей, с которыми он жил в Петербурге и Москве, Такая заносчивость Кольцова, естественно, отдалила от него прежних воронежских приятелей. Некоторые из них, завидовавшие поэту и клеветавшие на него, были сами виноваты в размолвке, но во многих случаях, как, например, в истории разрыва с добрым и симпатичным Кашкиным, его первым учителем и благодетелем, несомненна вина Кольцова; он впоследствии, как мы знаем, даже мелочно отомстил Кашкину, посвятив Серебрянскому стихотворение, которое прежде было посвящено книгопродавцу.

Обиженные заносчивостью прасола местные стихотворцы отплатили ему тонкою местью: они пригласили поэта в свое собрание, где прочитали басню одного из них (Волкова) «Чиж-подражатель». В этой басне, очевидно намекавшей на Кольцова, изображалась скромная птичка, услаждавшая слушателей своим простым чиликаньем;[9] но она попала в барские хоромы, где распевали очень ученые птицы. Чиж тоже захотел петь «по-ученому» – и только всех насмешил.

Такие отношения не могли располагать к мягкости ни ту, ни другую сторону, и несправедливо пишет поэт Белинскому про своих прежних друзей: «С моими знакомыми расхожусь помаленьку, наскучили мне их разговоры пошлые… Я хотел с приезда уверить их, что они криво смотрят на вещи, ошибочно понимают; толковал так и так. Они надо мною смеются, думают, что я несу им вздор… Я повернул себя от них на другую сторону… Таким образом, все идет ладно; а то что в самом деле из ничего наживать себе *дураков* – врагов».

Таким образом, отношения Кольцова с окружающими обострялись, и нам самим приходилось немало слышать от некоторых старожилов-воронежцев о том, что поэт зазнался и обижал своих прежних приятелей. И эти свидетельства вполне сходятся с указаниями из других источников.

Чтобы понять размолвку поэта с отцом, обнаружившуюся в это время с большой силой, нужно иметь в виду суровый характер старика и патриархальные обычаи в его доме. Василий Петрович был настоящим «кремнем». Он не терпел противоречий, а сын часто позволял их себе и даже критиковал действия отца, причем впоследствии обыкновенно оправдывались предсказания молодого Кольцова. Старик не мог легко этого переваривать: «Ты не мешайся в мои дела, не учи! – обыкновенно говорил он сыну. – Ты вот в книжках смыслишь, а тут не указывай!»

Оба с характерами упорными и суровыми, отец и сын не забывали обид. Искры взаимного недовольства глубоко таились в их душах и при случае вспыхивали ярким пожаром. Как отец не щадил сына, так и поэт не жалел отца, причем видел его насквозь. «Он человек простой, – пишет Кольцов про старика Белинскому, – купец, спекулянт, вышел из ничего, век рожь молотил на обухе… Его грудь так черства, что его на все достанет для своей пользы и для торговли…»

Оригинально было отношение старика к дарованию сына: он стал смотреть на это дарование как на доходную статью и хвастался им, он хвалился связями сына с «генералами» и пускал таким образом при случае пыль в глаза гусиновским своим родственникам. Когда в 1839 году сын снова задумался об издании своих стихов, отец явился горячим поборником этого предприятия, но не потому, что оно являлось общественным делом, вкладом в сокровищницу искусства, а потому, что от этого «большой барыш» выйдет. Старик рассказывал в торговых рядах, что сын «написал такой важный песенник, что ему обещают царскую награду и вызывают в Питер… В Питер ехать – много надо денег, но это дело даст большой капитал…»

Так прошло два года. Хотя материальное положение поэта не было плохим, но нравственные дрязги, размолвки с окружающими, натянутые отношения с отцом, тяжбы и вся эта борьба в области мелких житейских интересов утомляли душу… Его манил иной мир, – мир, где вращались его литературные друзья.

«Пророчески угадали вы мое положение, – писал Кольцов Белинскому в 1840 году. – У меня самого давно уже лежит на душе грустное это сознание, что в Воронеже долго мне несдобровать. Давно живу я в нем и гляжу вон, как зверь… Тесен мой круг, грязен мой мир, горько жить мне в нем, и я не знаю, как я еще не потерялся в нем давно… Какая-нибудь добрая сила невидимо поддерживает меня от падения. И если я не переменю себя, то скоро упаду…»

Затем, вспоминая о времени, проведенном им среди милых людей в 1838 году, когда его муза была так производительна, он дальше говорит: «А здесь кругом меня другой народ: татарин на татарине, жид на жиде… Судебные дела, услуги, прислуги, угождения, посещения, брань и расчеты, брани и ссоры… И для чего пишу? Для вас, для вас одних, а здесь я за писание терплю одни оскорбления…»

Отчего же Кольцов не разорвал совсем с этою опротивевшею ему обстановкой? Что этому мешало? Многое. Прежде всего, мы не должны забывать, что цитированные выше письма писались в

состоянии аффекта, в те минуты, когда грусть подступала высокою волной и когда вдали мерещился снова лучезарный мир столиц… Из каких бы неопределенных элементов ни складывалось чувство любви или – скорее – привычки к родине, это чувство, несомненно, сильно, и с трепетом читаешь письма изгнанников, изнывающих на далекой чужбине по родимой стороне. Но в особенности сильно это чувство в представителях тех кругов общества, которые, так сказать, «насидели» свои места. Только у Чайльд-Гарольдов, испытавших все в жизни, исколесивших с тоскою все страны мира и нигде не нашедших себе приюта, ко всему одинаково равнодушных, – нет родины. Прасол все-таки любил свою родину, и ему нужно было много силы, чтобы оторваться от нее навсегда. Если бы судьба толкнула Кольцова, с его поэтическими стремлениями, в мир торгашей тогда, когда поэту было лет 18–20, то, вероятно, он с ужасом бы отвернулся от такой жизни… Но ему еще с детства пришлось втянуться в эту жизнь; она, по выражению Белинского, украдкою подошла к поэту и овладела им прежде, чем он успел увидеть ее безобразие… Кроме того, Кольцова никогда не покидал здравый смысл и менее всякого другого он способен был питать иллюзии насчет цены своего таланта на житейском рынке… Если еще и в наше время литератор слишком мало и неопределенно получает за свой труд, который не всегда даже прокармливает его, если и теперь писатель во многих случаях наверно может надеяться только на то, что его похоронят с венками, приличными речами и некрологом, то литературные занятия в то время еще менее могли гарантировать успех в материальном отношении. И Кольцов это хорошо видел; он знал, что Белинский – сам Белинский, перед которым прасол безгранично благоговел и которого считал громаднейшею литературною величиною, – не всегда имел уверенность в куске хлеба… Рассчитывать на заработок от стихотворений Кольцов не мог… «Что за них дадут? – писал он о стихах в письме к приятелям, в Петербург. – И что за них буду получать в год? Пустяки: на сапоги, на чай, и только! Талант мой, надо правду говорить, особенно теперь, в решительное время, – талант мой – пустой… Несколько песенок в год – дрянь… Что, если в 40 лет придется нищенствовать?..» А между тем у поэта развилась уже привычка к известному материальному довольству, и для него наступили такие годы, когда человеку, много поработавшему, хотелось бы видеть себя защищенным от нужды в будущем… Кроме того, на Кольцова были переведены все дела и векселя отца на сумму до 20 тысяч рублей, и уже по одной этой причине он не мог бы уехать, так как в тогдашнее время за долги арестовывали, и расправа с

должниками была самая бесцеремонная. Все эти обстоятельства, а также и здравый смысл, не покидавший никогда Кольцова, заставили его отказаться от предложения Краевского, сделанного в 1840 году, принять заведование конторою «Отечественных записок» и от другого предложения – управлять книжною лавкою, основанною на акциях.

Кольцов очень обрадовался, когда ему в сентябре 1840 года снова пришлось собраться в столицы. Нужно было опять ходатайствовать по двум крупным тяжбам, и, кроме того поэт сопровождал два гурта быков (300 голов) на сумму до 12 тысяч рублей. Таким образом, поэт с песнями в кармане и в сопровождении стада быков вступил в первопрестольную. Это была его последняя поездка к друзьям. Мы уже знаем, с каким восторгом его ждал и встретил в Петербурге Белинский. От него прасол к декабрю 1840 года уехал в Москву. В Москве поэт прожил около трех месяцев. Самое важное тяжебное дело здесь он выиграл, другое же, менее серьезное, в Петербурге, проиграл. В Москве поэт жил полною жизнью, как бы предчувствуя, что это его последние светлые дни… Он написал несколько стихотворений и отослал их Белинскому. Новый (1841-и) год он встретил у Боткина в шумной и веселой компании с Кетчером, Грановским, Щепкиным, Сатиным и другими.

Прошедший год, тебя я встретил шумно,
В кругу знакомых и друзей! —

говорит поэт об этом радостно встреченном годе.

Но чем дальше шло время, и чем яснее сознавалась необходимость обратной поездки в Воронеж, тем мрачнее и мрачнее становилось на душе у поэта; тем чаще возникал у него вопрос: «Не остаться ли совсем в Петербурге?» Но остаться в столице без всего, начать снова поприще мелкого торгаша или приказчика – эта мысль приводила Кольцова в бешенство. «Он, – рассказывает Белинский, – все надеялся, что отец ему даст тысяч десять на условиях отказа от дома и всего другого наследства и что с этим капиталом он мог пристроиться в Петербурге и вести в нем тихую жизнь, зарывшись в книги и учась всему, чему не успел научиться прежде…»

«Ах, если бы к вам скорее, – писал сам Кольцов Белинскому из Москвы, – если бы вы знали, как не хочется ехать домой: так холодом и обдает при мысли ехать туда, а надо ехать, – необходимость, железный закон!»

Из этих строк видно, что мечтания Кольцова о жизни в Петербурге были иллюзией, которой он предавался только в

самые оптимистические часы, а действительность – необходимость поездки домой – была «железным законом», которого избежать не представлялось возможным.

Отец, конечно, не выделил Кольцову денег, потому что в данное время у него не было наличных, да и сомнительно, чтобы поэт просил такую сумму, хорошо зная старика. Если он и писал об этом Белинскому, то не всегда был искренен, повествуя о распрях с отцом. Поэт хотел «разжалобить» своего друга… Он немножко хитрил, так как почти в то же самое время в письмах к Жуковскому, князьям Одоевскому и Вяземскому совсем в ином свете выставлял старика и свои отношения с ним. Прасолу хотелось порельефнее выразить перед Белинским свое желание жить вблизи него и свалить вину за неисполнение этого плана на других.

Как бы то ни было, но наконец поэта в Москве, по его словам, «прохватил голод» и он уехал в Воронеж, кажется, при помощи друзей, снабдивших его деньгами.

Если до этого момента непосредственные причины резкой размолвки поэта с отцом и любимою прежде сестрою биографам Кольцова представляются не всегда ясными и о них приходится только догадываться, то теперь, после приезда поэта в Воронеж, этих причин оказалось слишком много.

Прежде всего, миссия поэта с гуртами быков закончилась полной неудачей. Эпизоотия,[10] большие убытки при продаже, трата денег на разные покупки, тяжбы, уплата долгов – все это привело к тому, что поэт приехал домой совершенно без денег… Может быть, поэтому-то он, боясь сурового и грозного отца, медлил с приездом на родину. Но мы должны остановиться главным образом на одном эпизоде, относящемся к последнему периоду жизни поэта, – эпизоде, который может нам в достаточной степени объяснить окончательное расстройство отношений сына с отцом, равно как и размолвку первого с сестрою Анисьей. Кольцов обладал натурой страстной и чувственной. Мы видели из его отношений к «сестрице», что эта страстность не стеснялась даже родственными узами. У него немало было любовных историй, начиная с поэтической страсти к Дуняше и кончая позднейшими романами. Один из них, печально окончившийся для Кольцова, был тот, о котором так красноречиво рассказывает Белинский, глубоко увлекавшийся как в чувстве дружбы к погибшему поэту, так и в ненависти к его врагам. «Страстною любовью озарился восход его жизни, – пишет Белинский про Кольцова, – пышным, багряным, но зловещим блеском страстной любви озарился и закат его жизни… Закрыв глаза на все, полною чашею, с безумною жадностью, пил наш

страдалец *отравительные* восторги… На беду его, эта женщина была совершенно по нем, красавица, умна, образованна, и ее организация вполне соответствовала его кипучей, огненной натуре…»

Но в этом поэтическом описании печального эпизода очень мало правды. Эта женщина была известная воронежская камелия Лебедева, или просто Лебедиха, как ее звали в городе. Она, конечно, отличалась красотою, образование ее было несколько лучше, чем у сестер Кольцова; она была гораздо разбитнее их. Но самое правдивое во всей описываемой истории то, что объятия этой женщины оказались «с отравою», и последнее не замедлило отразиться на здоровье Кольцова. Мы не будем называть болезни поэта, перешедшей впоследствии в чахотку: что это была за болезнь – ясно из всего вышесказанного. Есть основание полагать, что Кольцов уже нездоровым поехал в столицы в 1840 году и что долгое пребывание там, не совсем умеренный образ жизни, плохое лечение усилили болезнь и расстроили могучий организм поэта. Эта связь с низко павшей, известной всему Воронежу женщиной и свойства болезни поэта достаточно, по нашему мнению, объясняют тот окончательный разлад и ту холодность, которые возникли в отношениях между сыном, с одной стороны, отцом и сестрою Анисьей, – с другой. Слишком суров был старик, слишком он дорожил чистотою и честью своего дома, патриархальною простотою его обстановки, чтобы простить сыну подобное «баловство». А брезгливость со стороны Анисьи тоже вполне понятна, хотя, конечно, она не могла не возмущать Кольцова. Всего печальнее эта размолвка с «другом-сестрой», о которой поэт трогательно говорит в известном стихотворении:

Теперь ясней уж вижу я:
Огонь любви
Давно потух
В груди твоей!
Бывало ты —
Сестра и друг,
Бывало ты
Совсем не та!

Эта размолвка с Анисьей началась еще раньше. Поэт не советовал ей выходить замуж за не нравившегося ему человека, между тем согласие на брак было дано сестрою и родителями. Это оскорбило поэта и оттолкнуло от него сестру. Как мы уже не раз говорили, упорство и крутой нрав были семейными чертами характера Кольцовых. И сестра Анисья была одним из этих

«кремней», не скоро поддававшихся… А тут еще у поэта возникло подозрение, усиленное болезнью, что сестра подкапывается под его благосостояние. В настоящее время за отсутствием обстоятельных данных представляется трудным решить, насколько правдоподобны были такие опасения. Но как ни сгущены краски в рассказах о страшной обстановке последних полутора лет жизни поэта, все-таки в положении Кольцова, при его болезненном состоянии, не было ничего отрадного.

Сначала следовало поправить дела, значительно испортившиеся за время его отсутствия. И, вернувшись в марте 1841 года в Воронеж, Кольцов делает это. Дом был отстроен летом того же года, и поэт занял в нем мезонин (четыре комнаты), устроенный по его вкусу. Отец обходился с ним все холоднее и холоднее. Он, по рассказу Белинского, согласился давать Кольцову только тысячу рублей из тех семи тысяч, которые должен был приносить дом. В числе многих причин, вызывавших холодность отца, нужно указать еще и на то, что старик, давно желавший и пытавшийся (еще в 1837—38 годах) женить сына на представительнице купеческой «аристократии», не встречал на это согласия поэта. Впрочем, даже и теперь, во время болезни сына, отец не оставлял своей мысли и надеялся женить последнего, когда ему станет лучше. Но хотя он уже не встречал со стороны «Алеши» упорного отказа, сватовство в одном из домов окончилось неудачно; старик совсем рассердился, думая, что сам сын расстроил дело.

Печальное время настало для поэта. Знакомые, встречавшиеся с ним изредка на улицах и в городском саду, находили его бледным, понурым, сумрачным и раздражительным. Делами он уже не мог хорошо заниматься, да и сам старик, отстроив большой доходный дом, решился, кажется, совсем бросить прасольское ремесло. Он уплатил долги по векселям сына и не прочь был отпустить его от себя, конечно без денег. И в это время, когда мучительные припадки болезни проходили, Кольцову страстно и, во всяком случае, больше прежнего хотелось порвать с Воронежем и уехать в столицы… Но болезнь брала свое, облегчения были редки, и поэт не мог отправиться к друзьям, если бы даже и желал этого.

Летом 1841 года больной по совету доктора жил на даче у своих родственников и купался в Дону. Это поправило его силы. Но наступила ранняя осень, болезнь опять усилилась, и начались прежние мучения. Из сырого мезонина Кольцов осенью перешел вниз, ему дали лучшую комнату, непроходную, и вообще жизнь его в материальном отношении была, судя по письмам поэта и рассказам современников, обставлена гораздо лучше, нежели

описывает Белинский. Но нравственное состояние было порою очень тяжело. «Здоровье мое стало лучше, – пишет поэт в одном из последних писем к Белинскому, – начал прохаживаться и был два раза в театре. Лекарь уверяет, что я в пост не умру, а весной меня вылечит. Но сил, не только духовных – и физических, еще нет; памяти тоже. Волоса начали расти, с лица зелень сошла, глаза чисты… Что если и выздоровевши таким останусь… Тогда прощайте, друзья, Москва и Петербург! Нет, дай Господи умереть, а не дожить до этого полипного состояния!.. Или жить для жизни, или марш на покой!»

Нужно сказать правду: Кольцов терпеливо выносил свои страдания и только в письмах к друзьям говорил о них да порою становился раздражительным.

А как ему хотелось жить! Рядом, по случаю выхода замуж Анисьи, шумела молодежь: танцевали, играли и пели… И это кипучее веселье, шумевшее около умирающего поэта, должно было доставлять ему много минут жгучей скорби об уходящей жизни, о прошлых радостях… Поэт жалуется в письме к Белинскому на эту кутерьму, но она скоро прошла, и он успокоился. В существующих в литературе рассказах много говорится об ужасе той обстановки, которая окружала в последние дни Кольцова. Поэта, по этим рассказам, ежедневно оскорбляли, мучили и дразнили, как дикого зверя в клетке, – в то время как ему нужно было спокойствие. Доходило будто бы до того, что иногда мать только украдкою могла доставлять сыну обед и ужин и что дрова поэт, живя в холодном мезонине, добывал по ночам, как вор… Когда узнали об этом, то обещали выгнать его из дома. Рассказывают даже о таком ужасном случае: у сестры поэта, в соседней комнате, раз собралось много гостей; гости затеяли игру: поставили на середину комнаты стол, положили на него девушку, накрыли ее простынею и начали петь «вечную память» рабу Божию Алексею. Но эта картина последнего года жизни прасола-поэта настолько мрачна и в таком бесчеловечном виде рисует его родных, что ей трудно верить, тем более что сам Кольцов во многих письмах совершенно иначе рассказывает об обстановке в доме и об отношении окружающих. Также из многих источников достоверно известно, что родные поэта не могли быть так жестокосерды, а мать до конца крепко любила своего единственного сына «Алешеньку» и самоотверженно ухаживала за ним во время болезни. Кроме того, в эту тяжелую пору жизни Кольцов обрел друга, что немало скрашивало его бедствия. Этим последним приятелем прасола был доктор Малышев, симпатичный человек, оригинал и умница. Со многими пациентами из купцов он не церемонился. «Давай

деньги вперед! – говорил он, – а то надуешь…», что и случалось не раз. Но к Кольцову Малышев отнесся с горячей симпатией, лечил его почти даром, поддерживал в нем бодрость духа, часто посещал поэта, который был ему сердечно благодарен. Присутствие доктора оживляло Кольцова и заставляло его надеяться, что не все еще потеряно.

– Доктор! – говорил больной. – Если болезнь неизлечима, если вы только протягиваете жизнь, то прошу не тянуть ее… Чем скорее, тем лучше, – и вам меньше хлопот. Но доктор утешал его, ручался за излечение.

– Когда так, будем лечиться! – решал Кольцов.

Глубокой, надрывной скорбью веет от последних писем поэта. Тяжело умирать, когда так хочется жить, когда в жизни осталось еще так много неизведанного, прекрасного, когда не осуществились заветные мечтания молодости… В конце 1841 года он пишет князю Вяземскому: «Болен я. Жизнь моя туманная, доля бесталанная…» Но возможность смерти он видел ясно и такими трогательными словами заключал письмо к своим двум друзьям (Белинскому и Краевскому) в Петербург: «Ну, теперь, милые мои, пришло сказать: прощайте… Надолго ли? – Не знаю. Но как-то это слово горько отозвалось в душе моей… Но еще прощайте, и в третий раз – прощайте! Если бы я был женщина, хорошая бы пора плакать… Минута грусти, побудь хоть ты со мною подольше!»

За полтора или за два месяца до смерти поэта с ним свиделся товарищ Серебрянского по семинарии Аскоченский. Поэт, бывший в последнем градусе чахотки и говоривший низким, тихим и сиповатым голосом, не узнал прежнего знакомого.

– Вы меня не узнали, Алексей Васильевич? – спросил Аскоченский.

– Нет, – отвечал Кольцов.

Гость назвал свою фамилию. Поэт обрадовался. Заговорили о старине. Аскоченский рассказывал про Киев.

– Боже мой! Как вы счастливы, – сказал больной, – вы учились, а мне Бог не судил… Я так и умру – неученый.

Аскоченский стал его разуверять, говорил, что он еще много проживет и порадует читателей своими стихами.

– Зачем умирать? Выздоравливайте, да в Киев к нам!

– Да, в Киев, в Киев! – проговорил поэт.

«Но я думал, – говорит Аскоченский, – нет, не в земной ты Киев поедешь, а в небесный… Ты уж на дороге туда…»

Один, без друзей, доживал Кольцов свои последние дни. Друзья боялись встреч с отцом и не навещали больного. Родные же собирались почти ежедневно. Приходила и Анисья, хотя ее

посещения, кажется, не всегда были приятны поэту.

Как бы ни был виновен человек, как бы ни были против него ожесточены люди, но тайна смертного часа все сглаживает… Страшному обаянию и трогательному величию смерти могут оказаться недоступными только очень жестокие люди. В самом деле, у кого бы не защемило сердце при виде этой картины: недавно еще могучий прасол, у которого было «много дум в голове, много в сердце огня», лежал каким-то жалким остовом, прикованный к своей постели… От него остались одни мощи.

– Посмотрите, – сказал он, показывая как-то сестрам ладонь, – только и осталось мяса, что здесь, а то – все кости! – и заплакал.

15 октября (1842 года) пришел священник. Больной поднялся, встал с постели, упал ниц, но снова подняться не мог…

– Зачем делать сверх сил! – с кротким укором сказал духовник.

– Не говорите мне этого! – с рыданием ответил умирающий. – Я понимаю, кто посетил меня…

Наступило 19 октября. В комнате поэта сидела сестра его, Андронова. Он лежал и пил чай из чашки, подаренной ему князем Одоевским, которою очень дорожил. Больного поила няня. Руки его страшно тряслись.

– Послушай, няня, – сказал поэт, – какая ты странная: опять налила чай в чашку, она велика… Я слаб и могу ее разбить, перелей в стакан.

Просьбу больного исполнили. Андронова вышла на минуту из комнаты, а через несколько мгновений оттуда донесся крик няни. На крик прибежали сестра и мать. Кольцов был бездыханен: он умер моментально, держа в своих руках руку няни.

Поэт тихо и незаметно сошел в могилу. Друзья и почитатели, давно уже потерявшие его из виду, узнали о его смерти долго спустя, а столицы – еще позже. Белинский уже от посторонних лиц получил известие о смерти Кольцова. Кстати скажем, что поэт, вероятно вследствие болезни и тяжелого состояния духа, давно не писал критических статей (с февраля 1842 года).

Отец сделал на могиле сына безграмотную, но прочувствованную надпись…

– Разумная голова был мой Алексей, – говорил он всем, спрашивавшим о покойном сыне, – да Бог не дал пожить на свете: книжки его сгубили и свели в могилу!

27 октября 1868 года по почину купца Кривошеина, который стал и первым жертвователем на дело увековечения памяти Кольцова, был открыт в Воронеже памятник поэту-прасолу. Но самый лучший памятник Кольцов воздвиг себе своими

прекрасными и задушевными песнями.

Глава VI. Кольцов как поэт

Поэты-великаны. – Бурные рыцари поэзии. – «Мировая скорбь». – Поэзия Кольцова. – Влияние степи на его творчество. – Грусть колъцовской музы. – Первый период творчества Кольцова. – Подражательность. – Склонность к воспроизведению народного. – Песни Кольцова. – Предшественники его в этом жанре. – Искажение народного духа и языка. – Слащавость в изображениях народной жизни. – Любовь Кольцова к природе и описания последней. – Выражение русской удали в песнях. – Любовные песни. – Горькая доля женщины. – Песни, выражающие драму жизни поэта. – Думы. – Роль Кольцова в стремлении нашей литературы к народному. – Светлый мир крестьянства, изображаемый Кольцовым. – Кольцов – крупный народный поэт

Поэты как существа особенно чуткие и отзывчивые являются более чем все другие работники сферы мысли детьми своего века и окружающего их мира. Только самые гениальные из них перерастают современников и на целые века опережают свое время в умственном и нравственном отношениях, бросая обществу глубокие мысли и яркие образы. Создания таких титанов блещут вечною и нетленною красотою, поражая грядущие поколения. Всеобъемлющий кругозор этих царей мысли вмещает не один какой-нибудь уголок жизни, а всю жизнь, с ее бесконечными противоречиями, с ее тайнами, прошлым и грядущим, с ее страданиями и наслаждениями… Они касаются глубочайших основ ее, вечных для всех времен и народов. Тайна гениальности этих гигантов заключается главным образом в их организации, при которой возможно легкое, почти «бессознательное» создание таких произведений, перед которыми с благоговейным изумлением останавливаются и современники, и потомки… Среда и обстановка на этих поэтов оказывают неизмеримо меньшее влияние, чем на таланты обыкновенные, и во всяком случае не они создают этих людей. Вот почему подобные великаны возможны и в классической древности, как Гомер, и на границе Средних веков и эпохи Возрождения, как Данте, и в позднейшее время, как Шекспир.

Но помимо этих великанов, «с высоты взирающих на жизнь», помимо этих царей объективного творчества, мысль которых течет, как глубокая, многоводная река, есть еще бурные рыцари поэзии, испытавшие все в жизни в погоне за неосуществимым

идеалом своей мятущейся души, глубоко во всем разочаровавшиеся и излившие силы своего духа в горячем или демонически насмешливом отрицании всяческих «основ».

Но мы мало ошибемся, если скажем, что полный расцвет поэзии пессимизма, поэзии отрицания и «мировой скорби» невозможен при младенческом состоянии человечества, когда существует непосредственная близость к природе и обусловливаемая ею «жизнерадостность» человека. Weltschmerz[11] – это продукт высшего образования и утонченной цивилизации. Чтобы дойти до «мировой скорби», человечество должно было испытать целый ряд тяжелых опытов и разочарований. Только все познавший, всем пресытившийся, всем разочарованный представитель культурного поколения может прийти к беспощадному разбиванию всех кумиров, даже тех, которые дороги человечеству и которым оно целые века поклонялось. Образование и успехи цивилизации, увеличивая область доступных уму явлений, знакомя больше и больше с тайнами окружающей природы и далеких надзвездных миров, необычайно расширяют кругозор поэта, дают ему новые, неисчерпаемые в своем разнообразии картины, – и на место прежней величаво-простой и цельной поэзии является эта новая поэзия «проклятых вопросов», с ее дивными переливами красок, с ее благоухающе-пикантными образами, за которыми, однако, виден художник с насмешливым взором, с грустными, резкими морщинами на челе и вечным ядом сомнения в сердце… Но роль и этой поэзии велика: и в ней видны благородная неудовлетворенность настоящим и страдальческое искание прочного «прекрасного»; она вызывает ту жгучую скорбь, в тайниках которой зарождаются благородные порывы к борьбе со злом. И, наконец, это разрушение прежних кумиров, из которых, конечно, многие стоят свержения с пьедесталов, очищает почву и готовит место для новой созидательной работы… И представители этого рода поэзии, могучие титаны разрушения и борьбы – Байрон, Леопарди, Гейне, Лермонтов – могли появиться только в наше утонченное и все переиспытавшее время.

Кольцов не принадлежал ни к одной из этих групп поэтов. Его поэзия не создала эпохи, она не уносит читателя на высокие вершины области духа, где царит дивное величие образов, но где порою и содрогается сердце от холода изображаемой жизни… Его поэзия не решает великих вопросов человечества, она не стремится на широкий простор истории и современной жизни, не касается всех ее печалей и скорбей, всех великих социальных проблем… Кольцов не бросал в лицо обществу «железного стиха, облитого горечью и злостью»; в его поэзии нет ничего похожего

на злой смех Гейне над неосуществимостью идеалов добра и их мифической победой над злом. Он не спрашивал, волнуясь:

Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?

Но, тем не менее, Кольцов был истинным и крупным поэтом. Мир его поэзии не велик и, может быть, односторонен, и не захватывает громадного круга явлений всей жизни; но зато в своем уголке поэт-прасол – царь и полный хозяин. Прекрасные, яркие картины природы, широкая удаль и молодечество развернувшейся вовсю русской души, грустная жалоба обделенного счастьем сердца – все это сочною и умелою кистью изображено в произведениях Кольцова.

Мы уже говорили о влиянии степи на мальчика и юношу Кольцова: она еще с детства заронила в его чуткую душу свои грустные мелодии и ослепила его яркими красками. Мы говорили и о том, что ему знаком был мир народной жизни, что он его понимал и с головою окунулся в это широкое и далеко еще до него не изведанное море. Затем, мы видели, как скудно было образование Кольцова и как он, несмотря на страстную жажду знания, прикованный к своим практическим делам, не мог его пополнить. Нам известно уже и то, насколько не благоприятствовала поэтическому творчеству Кольцова городская обстановка с ее торгашескою мелочностью, с борьбою из-за ничтожных грошовых интересов. «Тесен мой круг, грязен мой мир, горько мне жить в нем», – пишет Кольцов Белинскому. Отсутствие образования и многосторонних знаний лишило поэзию Кольцова того разнообразия, которое встречается у поэтов менее талантливых, чем поэт-прасол, но более образованных… Вышеперечисленные особенности существования поэта и определили характер его поэзии. Кольцов дорог нам главным образом как задушевный певец степей и как поэт, знакомый с миром народным, глубоко его любящий и выразивший в своих песнях его наивное миросозерцание, его страдания и радости… Не менее интересны лирические, душевные излияния самого поэта – проявление богато одаренной натуры, глубоко страдавшей от неудовлетворенности и бесконечно стремившейся в светлый мир знания… Грусть Кольцова – не тот сплин, который является следствием пресыщения и знакомства со всеми благами жизни, «как ранний плод, до времени созрелый»; это грусть не удовлетворенного в скромной, элементарной жажде счастья

сердца, это плод противоречия задушевных горячих мечтаний поэта и стремления его к знанию с окружающей горькой действительностью. И эта беззаветная и жалобная грусть и светлая, кристально наивная поэзия близкого к природе человека действуют невыразимыми чарами на душу читателя.

Кольцов, как мы видели, писал стихи с ранней молодости. Первые из них были подражательными, жалкими по форме и не имели никакой поэтической ценности. Мало-помалу, страшно работая над собою, чтобы освоиться в самой области, отведенной поэтическому творчеству, и выработать стиль, много читая и беседуя с людьми знающими, Кольцов наконец достиг известного навыка в версификации. Стихи его стали гладкими и довольно звучными, но все-таки в них было слишком мало своего собственного и слишком много подражания прочитанным образцам. Кроме того, на них сильно еще сказывалось влияние распространенного в то время обычая писать для альбомов акростихи, послания и проч. В этих произведениях было очень мало простоты и слишком много «кудреватости». В них со всевозможными завитушками описывалась «она» и чувство к «ней»… Но такие стихи позднейшего периода благодаря своей гладкой форме и сносному содержанию годились уже для напечатания. К этого рода произведениям, будучи лучшими среди них, принадлежат стихотворения вроде «Не мне внимать напев волшебный», «К реке Гайдаре», «Приди ко мне» и прочие, помещенные в «Дополнении» к известному изданию сочинений Кольцова со статьею Белинского. Все вышеуказанные произведения поэта не отличаются ни глубиною мысли, ни оригинальностью, и если бы творчество Кольцова ограничилось только таким не подходящим для него жанром, то, весьма возможно, имя его ничем бы не выделялось из массы других посредственных стихотворцев. Но в том-то и отличие истинного таланта, что он быстро находит свою собственную дорогу. Так было и с Кольцовым. Относясь более сознательно и вдумчиво к окружающим явлениям, он полюбил широкое море звуков народных, он пропустил их сквозь горнило своего творчества и создал свои песни. На этот путь – изучения народной жизни и поэтического ее воспроизведения – его наталкивало влияние друзей и степной природы, а также и собственная чуткость, не позволившая, кроме того, сойти с избранной дороги в позднейший период творчества. И в этой кольцовской песне, полной народных звуков и стоящей, по своей оригинальности, совершенным особняком в нашей поэзии, – все значение творчества поэта-прасола.

Песни Кольцова размером, языком, выражениями и

оборотами речи во многом напоминают народные, но, конечно, художественнее последних: в них мысль глубже, чувство выдержаннее и сильнее, стремление – определеннее. Правда, в русской литературе были у Кольцова предшественники, но кольцовская песня по своей правдивости и поэтическим достоинствам стоит неизмеримо выше всех этих подделок, доходивших до полного искажения склада и свойств народной речи и души. У нас еще в конце прошлого века были песни Карабанова, Николева, Нелединского-Мелецкого (автора известной всей России песни «Выйду ль я на реченьку») и др. Но большинство этих песен являлись народными только по названию. Истинно народное в то прекрасное время господства смеси «французского с нижегородским» и незыблемых граней между сословиями было еще слишком «холопским», чтобы удостоиться внимания правящих классов общества, «баловавшихся» от скуки литературою. И странная вещь: чем ужаснее и печальнее было в то время положение бесправной крепостной массы, тем миндальнее и слащавее представлялось положение народа в литературе. Вероятно, народ уж очень бы резал глаза «публике» своею горемычностью, если бы его показывали в настоящем виде. И мы знаем хотя бы на примере Радищева, как в то время относились к писателям, позволявшим себе смотреть не через розовые очки на положение крестьянства. Народ тогда и на театре и в поэзии представлялся точно таким же, каким, например, он был выставлен при проезде Екатерины II в Крым: ликующим, благоденствующим, радостным, проводящим в песнях и плясках свои безоблачные дни… На сцене в этих quasi-народных песнях изображались разные грациозные пастушки, поджидающие под тенью «сладостных древес» своих милых пастушков, со свирелями, в изящных шляпах с лентами, завитых, раздушенных и напомаженных… Соответственно с этим описывался и духовный мир этих «пейзан»[12] и «пейзанок». Кроме миндальничанья с народом, последний иногда представлялся в литературе «скотом» и «хамом», в котором, разумеется, дремали все человеческие чувства и у которого не могло быть ничего хорошего, достойного заимствования.

Но жизнь шла, и с течением времени за народными песнями признавали все больше и больше достоинств, а к самому народу перестали относиться только как к презренному «холопу». Стали собирать народные песни: известны сборники Сахарова, Киреевского, Рыбникова и других. И литература, знакомясь с подлинными звуками народного творчества, все более и более приближалась к ним в своих подражаниях. Из песенников новой формации были наиболее замечательными Мерзляков, барон

Дельвиг, Цыганов. Известны, например, песни Дельвига «Пела-пела пташечка», «Ах ты ночь ли, ноченька».

Но часто эти произведения наполнены совершенно неподходящим содержанием и обманывают своими оборотами и формою, похожими на народные. И песни Кольцова от них отличаются неизмеримыми достоинствами: они чисто русские, с русскою душою; в них явно короткое знакомство автора с бытом и духом народным и глубокое сочувствие к народным горю и радости. Но, будучи народными по духу и по сочувствию к народу, эти песни полны поэзии и художественности: в них, как мы сказали, больше мыслей, чувства более глубоки и сознательны, а стремления – высоки. Но поэзия их не в риторике, не в пиитике. В любви к народному быту, в глубоком знании его Кольцов почерпнул силы для истинно поэтических звуков без всяких искажений и прикрас. В его песни вошли и лапти, и рваные кафтаны, и старые онучи, – и вся эта грязь, по выражению Белинского, превратилась у него в «чистое золото поэзии».

Свыкнувшись с бытом крестьянским и полюбив его, Кольцов привык смотреть на окружающие явления взглядом крестьянина и перенес этот взгляд в свои произведения. Для него море волнующейся ржи – не просто картина, исполненная ярких красок, переливов света и теней: он знает, что с колосом, нарядившимся «в золотые ткани», связано благосостояние крестьянина, и отсюда то почти святое, благоговейное, исполненное умиления чувство, с которым поэт смотрит на землю-кормилицу, на нивы со «спелым колосом», на степь – на эту арену святого труда простого человека. Он не может не сочувствовать радостям и горю работника, прилепившегося к земле… Таковы его стихотворения «Урожай», «Ну, тащися, сивка» и многие другие. Поэта радовали и «широкая степь», и полные колосья на трудовой мужицкой ниве, и «крестьянская пирушка». Зрелище ленивого, запустившего свое дело работника печалило его.

Мы, конечно, не можем здесь указывать на все лучшие произведения Кольцова: это значило бы испестрить цитатами целые десятки страниц. Но мы все-таки должны отметить самые характерные его песни, служащие выражением различных сторон его таланта. Мы уже привели ранее прекрасные описания степи у Кольцова (так же хорошо описаны у него лес и поле), а сейчас указали на его отношение к труду крестьянина, к горю и радостям труженика.

Русская беззаветная удаль как стремление вырваться во что бы то ни стало из тяжелых условий жизни, губящих могучие силы, и разгуляться на просторе «во всю душеньку», а вместе с

нею и вера в родное «авось» прекрасно выражены в целом ряде пьес: в «Песне разбойника», в знаменитом «Хуторке», в «Песнях Лихача Кудрявича», «Удальце» и так далее.

В любовных песнях, имеющих частью значение автобиографическое, поэт возвышается до трогательного, хватающего за душу лиризма… Кому из читателей не нравились эти строки из стихотворения «Не шуми ты, рожь»:

Сладко было мне
Глядеть в очи ей,
В очи, полные
Полюбовных дум…
И те ясные
Очи стухнули,
Спит могильным сном
Душа-девица!
Тяжелей горы,
Темней полночи
Легла на сердце
Дума черная!

А вот строки из песни «Не весна тогда»:

Вьюги зимние,
Вьюги шумные
Напевали нам
Песни чудные,
Наводили сны,
Сны волшебные,
Уносили в край
Заколдованный…

Так же прекрасны стихотворения «Последний поцелуй» и «Разлука». Печальная доля женщины – удел того общества, где вырос поэт, – с замечательною силой выражена в глубоких по чувству жалобах:

Ах, зачем меня
Силой выдали
За немилова,
Мужа старого!

А драма печального положения людей, богатых силами души и талантом, но обреченных стихийною судьбою томиться в нелюбимых условиях жизни, – драма собственной жизни поэта! – с какой силой и грустной прелестью выражена она в целом ряде высоко-прекрасных песен: «Горькая доля», «Путь», «Дума сокола», «Светит солнышко», «Много есть у меня» и других! Какою силою поэтического таланта веет, например, от нижеприведенных строф:

Соловьем залетным
Юность пролетела,
Волной в непогоду
Радость прошумела!

(«Горькая доля»)

По летам и кудрям
Не старик еще я:
Много дум в голове,
Много в сердце огня!

(«Путь»)

Иль у сокола
Крылья связаны?
Иль пути ему
Все заказаны?

(«Дума сокола»)

И каким грустным аккордом звучит заключительный куплет песни «Много есть у меня», сначала широкой и размашистой:

Но я знаю, на что
Трав волшебных ищу;
Но я знаю, о чем
Сам с собою грущу…

Но мы не можем выписать здесь всех кольцовских шедевров и отсылаем читателя к его известной книжечке.

Мы повторяем, что только благодаря врожденному сильному таланту, благодаря глубокому влиянию народной жизни и природы, глубокому знанию этой жизни и любовному

проникновению во все подробности народного быта можно было написать такие прекрасные песни, какие мы находим у Кольцова. При всех своих внутренних достоинствах они до того гармоничны, что сами просятся на музыку, чем и объясняется то обстоятельство, что они были излюбленным материалом для многих русских композиторов. Список музыкальных пьес, написанных на слова Кольцова, – список, вероятно, не совсем полный – мы приводим здесь, в дополнение к очерку.

Мы уже указывали, что пребывание Кольцова у друзей, в Петербурге и Москве, где кипели философские споры и дебатировались глубокие вопросы «о тайнах неба и земли», не прошло бесследно для его поэтической деятельности. Под влиянием идей, воспринятых там, в кружках литераторов, но не вполне, может быть, осознанных и разработанных поэтом, написано большинство так называемых «дум» его. Эти стихотворения представляют большею частью раздумья сильного, но не изощренного образованием ума, для которого закрыты многие расширяющие духовный горизонт сферы знания… В *думах* поэт старается разрешить величайшие проблемы жизни мира и духа или, лучше сказать, не разрешить, а поставить только вопросы об этих вековечных тайнах. *Думы,* конечно, далеко не имеют того значения, как песни. Они менее удачны и по форме, но, тем не менее, и среди них попадаются прекрасные вещи. В особенности хороши те пьесы из этого отдела или те части этих дум, в которых поэт обращается от мучающих его сомнений о природе и жизни к сладкой вере и надежде. «Тяжелы мне думы – сладостна молитва!» – восклицает он.

В известной молитве «Спаситель, Спаситель, чиста моя вера!» прекрасно выражена печаль духа о неведомом грядущем, о «темной могиле», о том, чем заменится «глубокое чувство остывшего сердца».

Следует также отметить в отделе *дум* прекрасное стихотворение «Могила». Интересно также и стихотворение «Поэт», поражающее глубиною и образностью мыслей, правда, недостаточно обстоятельно разработанных.

Но, говоря об увлечении Кольцова в эту пору «высокими материями», мы все-таки должны сказать, что сильный и трезвый ум поэта предостерег его от туманных мистических бредней, которые часто становятся уделом менее сильных духом людей, отдающихся области глубоких вопросов о «началах начал». Эти свойства ума Кольцова ясно выражены в его известной пьесе, посвященной кн. Вяземскому: «Не время ль нам оставить».

В заключение мы должны сказать о роли, которую поэзия Кольцова играла в том плодотворном стремлении нашей

интеллигенции к изучению народа и к народности в литературе, которое, оформившись в тридцатых – сороковых годах, выразилось особенно сильно в последнее время. Эта роль Кольцова, творчество которого представляет богатый вклад в сокровищницу знаний о народе, кажется, мало отмечается литературными историками. А между тем эта роль немаловажна. Уже сами произведения поэта дают, как сказано выше, богатый материал для ознакомления с характером и жизнью народа. А светлые образы пахаря и жницы, этих кормильцев и поильцев земли русской, вырастающие из каждой строчки кольцовских песен, служили правдивым ответом на те представления о народе как о «холопе» и стаде баранов, которые были так свойственны крепостному времени… Но эти простые люди, герои песен Кольцова, не были такими низкими существами: у них был целый мир своих дум, забот, радостей и печалей, стремлений и надежд, – и весь этот мир ясно смотрит со страниц книжечки поэта-прасола… Такие произведения, рисуя поэтическими, прочувствованными, но вместе с тем и правдивыми красками народный мир, считавшийся по недоразумению вместилищем только одной грубости и животности, в общем должны иметь громадное значение в пробуждении интереса к нему и желания поближе с ним познакомиться. Песни Кольцова в форме романсов проникали в самые богатые и значительные салоны и познакомили их завсегдатаев со светлым миром крестьянства, изображаемым поэтом.

Что касается прогресса нашего поэтического языка – влияние Кольцова здесь тоже не осталось бесследным: он обогатил его, узаконив в нем многие новые простонародные обороты и простую русскую речь… Впервые открытая им для поэзии и воспетая жизнь народная не могла не найти впоследствии и других певцов «народной радости и горя», на которых в известной степени влиял своими песнями поэт-прасол. Из таких певцов можно указать, например, на Некрасова и Никитина.

И если б Кольцов, крупный, истинно народный поэт (после всего сказанного мы имеем право назвать его этим достойным именем), мог теперь встать из могилы, то он убедился бы, что не всуе жил и страдал на земле… Бедный прасол, представитель – по рождению и обстановке, но не по уму и стремлениям – «темного царства», тщетно рвавшийся к закрытой для него области знания и умерший с тоскою о недостигнутом идеале, он вводит обширный круг читателей в светлое царство своей благородной поэзии; он открывает нам закрытую до того для поэтического изображения область души народной, – души этих вечных тружеников, обделенных светом знания, но в тяжелой борьбе с

невзгодами все-таки не утративших человеческого образа… Он заставляет нас любить нашего пахаря, сочувствовать ему и печалиться его печалями… И звуки кольцовских песен, величавых и широких, как родные степи и поля, и трогательно печальных, как стон пахаря в этих степях и полях, не исчезнут бесследно из памяти читателей…

Источники

1. *В. Г. Белинский.* Сочинения. Изд. Солдатенкова и Щепкина.

2. *А. В. Кольцов.* Стихотворения.

3. *М. Ф. Де-Пуле.* А. Б. Кольцов в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке. СПб., 1878.

4. «Воронежская беседа» за 1861 г.

5. *А. Н. Пыпин.* Белинский, его жизнь и переписка.

6. *И. И. Панаев.* Литературные воспоминания. Воспоминания о Белинском.

7. *И. С. Тургенев.* Полное собрание сочинений. Т. 10. 1884.

8. Русские люди. Изд. М. О. Вольфа. Т. 2. 1866.

9. *М. Парунов.* Кольцов и его песни. СПб., 1874.

10. *П. Полевой.* История русской литературы. СПб., 1872.

11. *Н. А. Добролюбов.* А. В. Кольцов, его жизнь и сочинения. Изд. А. И. Глазунова. М., 1865.

12. Наши деятели. Изд. Баумана. Т. 8. 1880.

13. *Журналы* «Русский вестник», «Отечественные записки», «Дело», «Телескоп», «Библиографические записки», «Сын отечества», «Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник» и др.

14. *Газеты* «Киевские губернские ведомости», «Дон» и др.

Приложение. Список стихотворений Кольцова, положенных на музыку русскими композиторами

Для одного голоса (с аккомпанементом фортепиано)

«Ах, зачем меня силой выдали…» Песня. П. Булахов, К. Вильбоа, И. Романус, А. Рубинштейн, кн. Н. Трубецкая, А. Христианович. Цыганские песни.

«Без ума, без разума меня замуж выдали…» Песня. А. Даргомыжский, кн. Н. Трубецкая. Л.

«Бегство» *(«Уж как гляну я на поле…»)*. Малашкин, Б. Прокунин.

«Веселый час» *(«Дайте бокалы!»)*. Н. Афанасьев, Алябьев, Баранович, А. Дюбюк, Ельховский.

«Всякому свой талан» *(«Как женился я, раскаялся…»)*. Даргомыжский.

«В непогоду ветер…» Песня. Баранович, П. Булахов, Дроздов, П. Москалев, В. Соколов, А. Христианович. Цыганские песни.

«В поле ветер веет…» Песня. А. Астафьев, А. Варламов, В. Глинка, Г. Ломакин, Б. Прокунин, В. Соколов, А. Христианович.

«Где вы, дни мои…» Песня. Баранович, Л. Малашкин, И. Н. Офросимов, В. Соколов, А. Христианович.

«Глаза» *(«Погубили меня твои черны глаза…»)*. Бобриков, А. Варламов, Воротников, А. Дерфельдт, Добрушина, А. Дюбюк, Клеффель, Л. Малашкин, И. Н. Офросимов, Рахманинов, И. В. Романус, Титов. Цыганские песни.

«Горькая доля» *(«Соловьем залетным…»)*. П. Булахов, А. Варламов, А. Дюбюк, В. Соколов.

«Грусть девушки» *(«Отчего, скажи, мой любимый серп…»)*. Афанасьев, Виардо-Гарсиа, А. Гурилев, Кашперов, Л. Малашкин, А. Христианович.

«Два прощания». А. Дюбюк.

«Деревенская беда». А. Дюбюк, О. Дютш.

«Доля бедняка». В. Соколов.

«Дума сокола». В. Де-Витте, Кашперов.

«Дуют ветры…» Песня. К. Вильбоа, Н. Дмитриев, А. Рубинштейн, Усатов, А. Христианович. Цыганские песни.

«Если встречусь с тобой…» Песня. Вителяро, М.И. Глинка, А. Даргомыжский, А. Дерфельдт, А. Дюбюк, А. Рубинштейн, М.

Сухоровский. Цыганские песни.

«Женитьба Павла». А. Дюбюк.

«Измена суженой». Божановский, А. Варламов, Векшин, А. Дюбюк, А. Гурилев, В. Соколов.

«Исступление» *(«Духи неба, дайте мне крылья сокола скорей!»).* М. Балакирев, Бобриков, И. Н. Офросимов, А. Рубинштейн.

«Как здоров да молод…» Песня. Н. Дмитриев, А. Дюбюк, Кашперов.

«Кольцо» *(«Я затеплю свечу…»).* А-ский, П. Булахов, А. Гурилев, Даргомыжский, Зайцев, Черников.

«Косарь» *(«Не возьму я в толк»).* Мещеринов.

«Крестьянская пирушка». А. Дюбюк, М. Мусоргский.

«Люди добрые, скажите…» Песня. Божановский.

«Лес» *(«О чем шумит сосновый лес?»).* А. Дерфельдт, Сокольский.

«Лес» *(«Что, дремучий лес…»).* Б. Прокунин, Д. Усатов.

«Мир музыки» *(«В стройных звуках льются песни…»).* А. Евгеньев, Б. Шель.

«Много есть у меня…» Песня. Зайцов.

«Молитва» *(«Спаситель, Спаситель!»).* И. Игнатьев.

«Молодая жница» *(«Высоко стоит солнце на небе…»).* К. Вильбоа, Махотин, А. Христианович.

«Не весна тогда жизнью веяла…» Песня. А. Дюбюк, Кашперов, А. Киреев, Г. Ломакин, А. Рубинштейн, А. Христианович.

«Не мне внимать напев волшебный…» Цыганские песни.

«Не на радость, не на счастье…» А. Дерфельдт, В. Соколов.

«Не разливай волшебных звуков!..» Л. Малашкин.

«Не скажу никому…» Песня. Архангельский, М. Бернард, А. Даргомыжский, Н. Дмитриев, Донауров, О. Дютш, И. Игнатьев, Г. Кузминский, Л. Малашкин, И. Помазанский, Шахт, Шашина, К. Шидловский.

«Не шуми ты, рожь…» Г. Арнольд, Воротников, А. Гурилев, Кушелев-Безбородко, Лазарев, Н. Щербачев.

«Ночь» *(«Не смотря в лицо, она пела мне…»).* А. Дюбюк.

«Нынче ночью к себе…» Песня. Петров, В. Соколов.

«Очи, очи голубые…» Песня. Д. Кладищев, И. Романус.

«Перед образом Спасителя». Н. Дмитриев, А. Дюбюк.

«Перепутье» («До *чего ты, моя молодость…»).* Бегичева.

«Перстенечек золотой…» Песня. Баранович, Божановский, А. Варламов, Г. Демидов, Капри, Ларме, Пригожий, И. Романус, А. Рубинштейн, Н. Стрекалов.

«По-над Доном сад цветет…» А. Дюбюк, Кавелин, М.

Мусоргский.

«Последняя борьба». Цыганские песни.

«Последний поцелуй» *(«Обойми, поцелуй…»).* М. Балакирев, Бларамберг, Де-Витте, Лобанов, И. Романус, бар. Фитингоф, Штуцман. Цыганские песни.

«Приди ко мне, когда зефир…» М. Балакирев, Баранович, Н. Самсонова, Энгель.

«Путь» *(«Путь широкий давно…»).* Эггерс.

«Песня Лихача Кудрявича» (первая). Архангельский, Н. Афанасьев, Векшин, Воротников, А. Дюбюк, Кашперов, Е. Климовский.

«Песня Лихача Кудрявича» (вторая). Мещеринов.

«Песня пахаря». Н. Бороздин, Н. Самсонова.

«Песня разбойника». Афанасьев, М. Балакирев, Л. Малашкин, К. Вильбоа.

«Песня старика». М. Балакирев, А. Варламов, И. Макаров, В. Соколов.

«Раздумье селянина». Баранович, Бороздин, А. Бурнашев, А. Копылов, Д. Усатов.

«Разлука» *(«На заре туманной юности…»).* А. Гурилев, А. Христианович.

«Расступитесь, леса темные…» Песня. А. Христианович.

«Расчет с жизнью». К. Вильбоа, Де-Витте, Ржевский, В. Соколов.

«Светит солнышко…» Песня. Н. Дмитриев, Б. Прокунин, А. Христианович.

«Сирота» *(«Не прельщайте, не маните…»).* И. Макаров, П. Щуровский.

«Соловей» *(«Пленившись розой, соловей…»).* Арцыбушев, А. Глазунов, Данилевская, Д. Кладищев, Ладухин, А. Рубинштейн.

«Старая песня» *(«Из лесов дремучих…»).* А. Рубинштейн.

«Так и рвется душа…» Песня. К. Альбрехт, М. Балакирев, А. Варламов, Горбенко, Де-Витте, Н. Дмитриев, А. Иванов, Кашперов, Кушелев-Безбородко, Лобанов, Ржевский, Смирницкая, В. Соколов, И. Сетов, Н. Щербачев.

«Терем». Ельховский.

«Тоска воле» *(«Загрустила, запечалилась…»).* В. Соколов.

«Ты не пой, соловей…» Песня. А. Варламов, Зайцев, Монюшко, А. Паскуа, А. Рубинштейн, В. Соколов, бар. Шель.

«Ты прости, прощай…» Песня. Донауров, А. Дюбюк, К. Лядов, А. Рубинштейн, Эрарский.

«Удалец» *(«Мне ли, молодцу…»).* М. Балакирев, Эрарский.

«Хуторок». Дюбюк, Е. Климовский.

«Цветок». А. Дюбюк.

«Что он ходит за мной…» Песня. Капри, Клеффель, В. Эбан.

«Что ты спишь, мужичок…». Цыганские песни.

«Я был у ней; она сказала…». Н. Фон-Дервиз, А. Дюбюк.

«Я любила его…». Песня. Андреев, А. Варламов, Виардо-Гарсиа, А. Дюбюк, О. Дютш, Капри, В. Соколов, А. Христианович.

Для двух голосов (дуэты)

«Глаза» *(«Погубили меня твои черны глаза…»).* И.Н. Офросимов.

«Грусть девушки». Н. Христианович.

«Если встречусь с тобой…» Песня. А. Даргомыжский.

«Мир музыки». В. Соколов.

«Не мне внимать напев волшебный…». Цыганские песни.

«Не скажу никому…» Песня. Н. Афанасьев.

«Не шуми ты, рожь…» А. Гурилев, Н. Самсонова

«Последний поцелуй». Цыганские песни.

«Приди ко мне, когда зефир…» Песня. Н. Самсонова.

«Песня Лихача Кудрявича» (первая). В. Соколов.

«Светит солнышко…» Песня. А. Рубинштейн, Н. Самсонова.

«Соловей» *(«Пленившись розой, соловей…»).* В. Соколов.

«Так и рвется душа…» Песня. Ц. Кюи.

«Терем». Ельховский.

«Ты не пой, соловей…» Песня. Варламов, В. Соколов.

«Хуторок». Климовский.

«Я любила его…» Песня. Капри, В. Соколов.

Трио, квартеты и хоры

«Великая тайна». Дума. Н. Римский-Корсаков.

«Веселый час» *(«Дайте бокалы!»).* Афанасьев, Бернард, Вильбоа, Н. Римский-Корсаков, В. Соколов.

«В поле ветер веет…» Вильбоа, В. Соколов.

«Горькая доля» *(«Соловьем залетным…»).* В. Соколов.

«Дом лесника». Главач.

«Дуют ветры…» Цыганские песни.

«Как здоров да молод…» Кашперов.

«Косарь». Афанасьев.

«Крестьянская пирушка». Н. Римский-Корсаков.

«Молитва» *(«Спаситель, чиста моя вера…»).* Игнатьев.

«Песня Лихача Кудрявича» (первая). Главач, Воротников.

«Соловей» *(«Пленившись розой, соловей…»).* Н. Римский-

Корсаков.

«Старая песня» *(«Пленившись розой, соловей…»)*. Н. Римский-Корсаков.

«Так и рвется душа…» Песня. В. Соколов.

В известном издании Солдатенкова напечатано всего 124 стихотворения Кольцова. Из них, как это следует из нашего указателя, не менее 75 положены на музыку; то есть если исключить из помянутой книжки думы (16 пьес) как не вполне удобные для пения, то можно сказать, что не менее (если не более) $^3/_4$ всех напечатанных произведений Кольцова переложено на музыку. Кажется, ни у одного из поэтов наши музыканты не заимствовали столько материала. Более ста русских композиторов трудились над музыкальною иллюстрацией песен Кольцова, – и в числе этих композиторов встречаются почти все самые знаменитые и крупные музыканты: Глинка, Даргомыжский, Рубинштейн, Монюшко, Ломакин, Римский-Корсаков, Мусоргский, Кюи, Балакирев и др. Представители «старой» музыки и деятели «новой» школы – все находили у Кольцова богатый запас тем для музыкального изображения. Большинство указанных выше романсов выдержали многие издания. Кроме того, следует упомянуть, что мотивы многих романсов на слова поэта-прасола переложены с голоса для разных музыкальных инструментов.

notes

Примечания

1

Прасол – гуртовщик, торговец скотом *(Словарь В. Даля)*

2

Шибай – перекупщик, барышник, кулак *(Словарь В. Даля)*

3

Чумак – извозчик на волах; в былое время отвозили в Крым и на Дон хлеб, а брали рыбу и соль *(Словарь В. Даля)*

4

Барда – гуща, остатки от перегона хлебного вина из браги; идет на откорм скота *(Словарь В. Доля)*

в курсе *(фр.)*

6

Плохой, негодный, дрянной, хилый *(Словарь В. Даля)*

сорт сочных сладких груш

8

выскочка *(фр.)*

чириканьем, щебетом *(Словарь* В. *Даля)*

10

Широкое распространение инфекционной болезни животных, значительно превышающее уровень обычной заболеваемости на данной территории

11

Мировая скорбь *(нем.)*

12

Пейзан, пейзанин – ироническое название идиллически, слащаво изображенного крестьянина в художественных произведениях конца XVIII и начала XIX веков (от фр. *paysan* – крестьянин)